

# АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

ВПЕРЕДИ  
ИДУЩИЕ

Часть сборника: О душах живых и мертвых. Впереди идущие

Алексей Новиков  
**Впереди идущие**

«ФТМ»

1965

## **Новиков А. Н.**

Вперед и идущие / А. Н. Новиков — «ФТМ», 1965

Книга А.Новикова «Вперед и идущие» – красочная многоплановая картина жизни и борьбы передовых людей России в 40-х годах XIX века. Автор вводит читателя в скромную квартиру В.Г.Белинского, знакомит с А.И.Герценом. Один за другим возникают на страницах книги молодые писатели: Н.А.Некрасов, Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, М.Е.Салтыков-Щедрин. Особенно зримо показана в романе великая роль Белинского – идейного вдохновителя молодых писателей гоголевской школы. Действие романа разворачивается в Петербурге и в Москве, в русской провинции, в Париже и Италии.

© Новиков А. Н., 1965

© ФТМ, 1965

# Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	13
Глава четвертая	18
Глава пятая	22
Глава шестая	25
Глава седьмая	29
Глава восьмая	30
Глава девятая	33
Глава десятая	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Алексей Никандрович Новиков

## Впереди идущие

### Часть первая

#### Глава первая

Почтовый дилижанс следовал из Москвы в Петербург. Как водится, попутчики давно перезнакомились. Отправясь в дальнюю дорогу, люди, известно, о многом переговорят, всякое вспомнят.

Только один пассажир не принимал участия в разговорах. Он кутался в истертую шубейку, натягивал поверх нее плед – и все-таки не мог согреться. Жестокий январский мороз добирался до костей, а дилижанс, ныряя из ухаба в ухаб, двигался так медленно!

Путешественник нахлобучивал теплую шапку, прятал лицо в вязаный шарф и, кажется, дремал. Впрочем, и в дреме он ни на минуту не выпускал из рук объемистый портфель.

Когда в промерзлых окнах кареты проплывали встречные тусклые огни и пассажиры торопились обогреться на почтовой станции, путник в истертой шубейке выходил последним, бережно неся неразлучный портфель.

Он торопливо хлебал жидкие щи, с жадностью пил горячий чай, а потом, глотнув морозного воздуха, заходил в карете от кашля. Кашель был такой глубокий, надрывный и долгий, что на лбу, несмотря на мороз, выступала испарина.

Попутчик, по-видимому из отставных чиновников, долго присматривался к страждущему человеку.

– Извольте, сударь, житьствовать у нас в Москве?

– Нет, в Петербурге, – коротко отвечал хмурый пассажир, не выражая ни малейшего желания продолжать разговор.

– Так-с... А ведомо ли вам, милостивый государь, что под Москвой обитает богоугодный старец и саморучно настаивает чудодейственный травник? Если пить тот травник с молитвою – как рукой снимет всякую грудную болезнь.

– Травник? – с явным недоверием переспросил купеческий сын, ехавший в Петербург по тятенкиной скобяной надобности. – Пито этих травников нашим родителем – беда! Забирает действительно крепко. А последствие одно: еще больше на опохмёл тянет.

– Самое верное дело – парная баня, – вмешался пассажир в медвежьей шубе. – С употреблением горячительного, конечно, но в меру – сколько душа примет.

– А душа, вестимо, меру должна знать, – подтвердил купеческий сын.

Разговор стал общим. Только путешественник, возбудивший сочувствие, по-прежнему молчал да крепко держал в руках портфель.

Этот портфель давно привлекал любопытствующие взоры. По всему видать, не дал бог достатка человеку, если не сумел он нажить даже приличной шубы, – какое же может быть сокровище в портфеле, чтоб держаться за него обеими руками?

А если бы раскрыть тот таинственный портфель, обнаружились бы аккуратно исписанные листы и заглавие, выведенное крупными буквами: «Мертвые души. Поэма Н. Гоголя».

О «Мертвых душах» давно идут нетерпеливые толки. Шутка ли, сколько лет молчал Гоголь после «Ревизора»! Пока что автор прочел поэму только немногим избранным друзьям и требовал от них соблюдения строжайшей тайны. Но кто из счастливцев удержался, чтобы не шепнуть приятелю: читал, мол, вчера Гоголь из нового...

Гоголь читал в Москве, а эхо откликалось в Петербурге. Кажется, только сам Николай Васильевич еще верил, что тайна чтений сохраняется.

Весть о поэме, которую привез Гоголь, возвратясь на родину из прекрасного далёка, летела с быстротой молнии. Как не ждать новой встречи с писателем, который приковал к себе взоры всей России... А «Мертвые души», вместо того чтобы быть в типографии, путешествуют в почтовом дилижансе.

Правда, сам автор вручил рукопись пассажиру, замерзающему в ненадежной шубейке.

– Сделайте одолжение, Виссарион Григорьевич, – сказал ему Гоголь, – отвезите мое многострадальное детище в Петербург.

...Далеко отъехала почтовая карета от Москвы, а Виссариону Белинскому все еще видится автор «Мертвых душ», слышится его голос.

Критик, который первый предрек Гоголю великое поприще, и автор «Мертвых душ» давно не виделись. При встрече в Москве Белинского поразило истомленное лицо Гоголя, даже походка его стала расслабленной и шаркающей.

Николай Васильевич, сразу приступив к делу, начал рассказывать о мытарствах «Мертвых душ» в московской цензуре. И тотчас как живые предстали в этом рассказе московские цензоры.

– «Как это может быть – мертвые души? – Гоголь, войдя в роль председателя цензурного комитета, многозначительно пожевал губами и взглянул на Белинского округлившимися от страха глазами. – Души – и вдруг мертвые? – Николай Васильевич снова пожевал губами. – Почему же, однако, мертвые?»

«А потому и мертвые, ваше превосходительство, что нынешние модники не признают даже бессмертия христианской души...» – Изображая кого-то из членов цензурного комитета, Гоголь наморщил лоб, лицо его вдруг окаменело.

Николай Васильевич поднялся с кресла, представив еще чью-то фигуру, уморительно похожую на восклицательный знак, затесавшийся не к месту посередине строки. Это цензор-докладчик, прерванный председателем на полуслове, теперь сыпал витиевато-почтительной скороговоркой.

– «Долгом считаю пояснить, ваше превосходительство, что в представленном на рассмотрение комитета сочинении подразумевать надо не мертвые души, так сказать, вообще, – Гоголь сделал округлый жест рукой. – Но имеются в виду единственно помещичьи крестьяне, свершившие земной путь, сиречь ревизские мертвые души».

«Ревизские души?! – Гоголь вновь принял обличье председателя, и Белинскому ясно представилось, как взметнулись председательские бакенбарды. – Да ведь если есть в сочинении хотя бы одно подобное слово, так это значит – против крепостного права? Трижды запретить!»

Положительно, Николая Васильевича нельзя было узнать. Вместо человека, удрученного несчастьями, перед Белинским был прежний Гоголь – великий мастер-лицедей. Один за другим оживали в его изображении чиновники цензурного комитета, толстые и тощие, дряхлые и в цвете лет, каждый со своей повадкой; даже вицмундир каждый обдергивал по-своему.

Но тут Николай Васильевич оборвал рассказ, и Белинский снова увидел измученного человека, ушедшего в горькие думы...

... – Вот она – наша злодейская, кнутобойная и тупоголовая цензура!

Хрипловатый голос Виссариона Григорьевича прозвучал в почтовой карете неожиданно громко. Кто-то из пассажиров спросонья бросил на него недоуменный взгляд, прочие согласно кивали головами. Это отнюдь не означало, однако, какого-нибудь мнения о цензуре, но целиком зависело от покачивания кареты и неодолимой дремоты.

Совсем близко заливчато зазвенели бубенцы. По тракту пролетела, обгоняя медлительный дилижанс, чья-то тройка да гикнул на коней лихой ямщик. И снова настала тишина.

Белинский отодвинулся от пассажира в медвежьей шубе, расположившегося в карете, как в собственной спальне, и снова отдался воспоминаниям.

– Скажите же на милость, Виссарион Григорьевич, – спросил в недавнюю встречу Гоголь, и в голосе его отразилось искреннее недоумение, – в чем я согрешил? Ей-богу, ни в чем закона не нарушил. За что же ополчился на меня цензурный комитет? – Он взглянул на собеседника, словно ожидая, что вот сейчас и подтвердит ему Виссарион Белинский: нет, мол, и не было на Руси более благонамеренного писателя, чем Николай Гоголь. А Белинский хорошо помнил свой ответ:

– Нет у нас Пушкина, не стало Лермонтова, вы один теперь у России, Николай Васильевич! Понятия не имею я о содержании «Мертвых душ», но знаю наперед: каждое слово ваше поставят вам в вину, и не только в цензуре.

– Помилуйте, какая же моя вина? – Гоголь так удивился, что даже откинулся в кресле. – Ну, может быть, в каком-нибудь иносказании я и преступил, допускаю... Так ведь для того и поставлены над нами попечительные цензоры...

Автор «Мертвых душ», рассуждавший о попечительной цензуре, вдруг заговорщически улыбнулся.

– А что же делать, – продолжал он, косясь на Белинского, – если не дал мне бог умения окуривать людские очи упоительным куревом? На то и без меня охотников довольно. Только я, грешник, никак не потрафлю своей лирой на высокий лад...

Пока Гоголь жаловался на непокорную лиру, Белинский выжидал удобной минуты, чтобы начать душевный разговор. А Гоголь опять замолчал. Потом сказал тихо, будто открывая великую тайну:

– Прежде всего надо очиститься Руси от всякой скверны.

– А как же будем очищаться, Николай Васильевич? Какой метлой? Какой скребницей? – горячо спросил Белинский.

Тут бы и начаться важнейшему разговору...

– Валдай! Валдай! – раздался над самым ухом Белинского чей-то нетерпеливый тенорок, вовсе не похожий на голос Гоголя.

Виссарион Григорьевич с трудом открыл глаза.

– Сейчас горячих баранок у валдайских девок накупим! – объявил купеческий сын, ехавший по тятенькиной надобности.

Белинский тяжело вздохнул. Еще только Валдай! А ноги совсем застыли.

У станционного здания торговали баранками разбитные валдайские красавицы. На станции было полно проезжих. Двери то и дело открывались. Мороз врывается в помещение облаком густого, висячего пара. Снаружи были слышны крики ямщиков, ржание лошадей и звон валдайских колокольцев.

Дорожная Русь жила привычной жизнью. Хлопнет рукавицей о рукавицу ямщик, подберет вожжи: «Эй, любезные!...»

И смотришь, станционный самовар встречает песней новых гостей; снова открываются двери, и морозное облако накрывает белой шапкой все – и проезжих, и столы с неубранной посудой, и самого станционного зрителя, вздумавшего прикорннуть у горячей печки. Да когда же зрителю спать!

– Запрягать фельдъегерских!

– Лошадей! Живо!

А ведерный самовар, набравшись свежих угольев, как фыркнет на проезжую особу, будь особа хоть в бобрах или енотах. Ему, туляку, что...

...Медвежья шуба снова прижала Белинского в угол почтовой кареты. Карета продолжала путь в Петербург.

Виссарион Григорьевич безотрывно смотрел в промерзлое окно. Теперь-то он наверняка не спит и даже не дремлет. Почему же вдруг видится ему среди узоров, выведенных на стекле морозом, чье-то милое лицо, чей-то приветливый взгляд? Наваждение, истинное наваждение!

Посмотрел Виссарион Григорьевич еще раз на промерзлое окно – искрятся одни алмазные узоры. И в Москве тоже решительно ничего не было. Пора расстаться с несбыточными мечтами, когда пошел человеку четвертый десяток.

Мысли его вернулись к Гоголю. Хитер оказался Николай Васильевич! Ведь и приехал-то он к Белинскому тайком, ускользнув от своих друзей москвитян – профессоров Погодина и Шевырева.

Усердно холопствуют эти господа профессора на страницах своего журнала «Москвитянин» перед российским самовластием и печатают откровенные доносы на инакомыслящих, в первую очередь на него, Белинского: вот он, возмутитель шатких молодых умов!

Такой донос, писанный опытной рукой профессора Шевырева, и прочитал на страницах «Москвитянина» Виссарион Белинский, будучи в Москве.

Знал ли об этом доносе Гоголь? Не мог не знать. Но ни словом не обмолвился. Правда, Гоголь не дает ни строки в «Москвитянин», – стало быть, не желает иметь с этим журналом ничего общего. Но вот загадка: когда приезжает Николай Васильевич в Москву, всегда останавливается у издателя «Москвитянина» профессора Погодина, в его доме на Девичьем поле. А там зорко стерегут его москвитяне и вся славянофильская нечисть.

О, как бы надо было иметь с Гоголем важнейший разговор! Но уклонился Николай Васильевич. Ничего не ответил насчет метлы или скребницы, потребной для очищения Руси от скверны. Только развел руками и опять перевел разговор на «Мертвые души».

– Буду искать высшего суда в Петербурге, – сказал он. – Пусть ближние мои похлопочут – и граф Виельгорский, и профессор Плетнев, и князь Одоевский. К ним обращаю челобитье: как же можно лишать меня плодов семилетнего труда и последнего куска хлеба! А ходатаи мои пусть не обойдут и любезнейшую Александру Осиповну Смирнову – у нее легкая, но сильная рука во дворце...

И вот Белинский везет в Петербург драгоценную рукопись и скорее пожертвует жизнью, чем допустит ее пропажу. Наконец-то между литературных пустоцветов и ядовитых пузырей раздастся долгожданный голос Гоголя. При одной этой мысли согревалась душа. А цензура? И становилось Виссариону Григорьевичу так зябко, что он дыханием согревал руки. Но руки все равно деревенели.

Дилижанс тянулся от станции к станции, а Белинский уже видел себя дома, за рабочей конторкой. Он знает, как ответит в «Отечественных записках» на донос «Москвитянина». Не умом или талантом опасны эти ученые холопы. Страшны они угодливым оправданием многоликого российского зла.

– Все они в Москве шевыревы!

Вырвалось, конечно, по горячности. В Москве были у Белинского многие встречи, с разными людьми. Но между всех хлопот и переговоров о журнальных делах случилась, между прочим, еще одна встреча с девушкой зрелых лет и трудной судьбы – из тех, кто весь век мыкается в гувернантках, переходя из одного барского дома в другой или из пансиона в пансион.

А если и была такая встреча, что из того? Ведь и раньше, еще в студенческие годы, он видел эту девушку, – правда, очень редко и случайно. И оба они были тогда моложе. Вот и все! Мало ли кого можно снова встретить в Москве...

Однако же впечатления от этой встречи оставались многообразны, противоречивы, беспокойно-радостны, но смутны.

Под Петербургом зимняя дорога была совершенно разбита. Дилижанс плыл, качаясь, как корабль на волне. В тесноте с трудом разъезжались встречные экипажи. Барские откормленные кучера истошно ругались. С унылого петербургского неба сыпался мокрый серый снег.

Добравшись до дома, Белинский вынул из портфеля рукопись Гоголя. Долго не отрываясь на нее смотрел. Взять бы да и прочесть не переводя дыхания! Но Николай Васильевич не сделал такого предложения. И то сказать: дорог каждый час в хлопотах о спасении поэмы.

Едва обогревшись после утомительного путешествия, Белинский повез рукопись «Мертвых душ» к князю Одоевскому. Владимир Федорович, слушая рассказ о запрещении «Мертвых душ» московской цензурой, прочитал коротенькую записку, присланную Гоголем: «...вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю...»

– Так-таки сразу и государю? – Владимир Федорович очень удивился: – Но почему же непременно государю?

Белинский меньше чем кто-нибудь другой мог ответить на этот недоуменный вопрос.

А чем же может помочь в таком экстраординарном деле Владимир Федорович? Он якшается с пишущей братией и еще больше с музыкантами. Дворцовых же связей, да еще таких, чтобы доставить рукопись самому императору, у Одоевского нет. Тут надобна могучая рука. Перво-наперво и оповестит Владимир Федорович ближнего царедворца, графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Михаил Юрьевич, если захочет, все может.

С тем и уехал Белинский, свято выполнив поручение Гоголя. А дома занялся поливкой любимых олеандров – вытянулись олеандры чуть не до потолка. Давняя у Виссариона Григорьевича страсть к цветам. Однако сегодня не выходит из головы новая мысль: на диво хороши олеандры, но кто же, кроме него, будет ими любоваться?

Белинский осматривает свое холостяцкое жилище так, будто впервые сюда попал; улыбка смущения не сходит с губ. Он долго стоит перед рабочей конторкой, но думается, к удивлению, вовсе не о журнальных делах. Наваждение, испытанное в Москве, овладевает им с новой силой.

– Молчание, молчание! – шепчет человек, давно расставшийся с мечтами о счастье. Нет на свете ни одного женского существа, которое бы думало о нем.

А наваждение продолжается. Виссарион Белинский снова видит перед собой девушку со следами красоты, увы, уже поблекшей. Так о чем же они говорили в Москве в последний раз?..

Виссарион Григорьевич совсем было уже улегся на покой и вдруг снова поднялся.

– Возможно ли?.. Мари!..

Имя было произнесено и прозвучало непривычно странно в этой суровой обители, где текла одинокая жизнь, без ласки, без любви.

Но заснуть опять не удалось. Едва прикрыл глаза, на смену всем наваждениям явился Гоголь. Все тот же горький у него вопрос:

– Как можно лишить меня плодов семилетнего труда и последнего куса хлеба?

– А лишить Россию ваших созданий, Николай Васильевич, можно?!

Даже забывшись наконец в тревожном сне, Белинский скрежетал зубами и задыхался.

## Глава вторая

Профессор Плетнев, дочитав письмо Гоголя, аккуратно сложил листы. Непременно надо Николаю Васильевичу помочь!

Конечно, ректор Петербургского университета Петр Александрович Плетнев многое может. Вхож он и в императорский дворец, где доверено ему обучение царских детей. Как редактор «Современника», Плетнев и в цензуре свой человек. Правда, бывший пушкинский журнал быстро превратился благодаря его стараниям в тихую ученую заводу, в которой не отражаются волнения быстротекущей жизни. Но зато и чтут власти благоразумного профессора. Недаром состоит уважаемый редактор «Современника» еще и членом столичного цензурного комитета.

«Как же помочь автору «Мертвых душ», попавшему в беду? – размышляет Петр Александрович. – Всего лучше начать, пожалуй, с Александры Осиповны Смирновой. Она женщина тонкого ума. Как ценил ее приснопамятный Пушкин!»

Каждый раз, когда Петр Александрович вспоминал Пушкина, ему в самом деле казалось, что идет он прямой пушкинской дорогой и неуклонно разит врагов великого поэта. Но никогда не дерзал тишайший профессор Плетнев восстать против тех, кто лишил Россию Пушкина. Никогда не написал Плетнев ни строки в осуждение порядков, от которых задыхался поэт.

...Благостная тишина царит в кабинете профессора Плетнева. Неугасимая лампада горит перед иконой, отбрасывая мерцающий свет на письменный стол. На столе аккуратно разложены конспекты лекций по русской словесности. Очень поучительные лекции! И поэзия и проза представлены в них как вдохновенное служение идеалу прекрасного. Чувство меры, вернее, благой умеренности, является при этом едва ли не главным мерилем прекрасного в глазах почтенного профессора.

Впрочем, эти мысли Петра Александровича не отражаются на страницах редактируемого им «Современника». Раз и навсегда изгнал он из журнала всякие споры и только издали поглядывает на журнальные битвы. А там первый и отчаянный боец – Виссарион Белинский. Ладно бы воевал Белинский с продажными журналами, но, воюя с ними, он все настойчивее проводит собственные идеи, куда более опасные для истинного благомыслия. Положительно, еще не было подобной дерзости в русских журналах!

Растревоженный мыслями, Плетнев глянул на божественный лик иконы: никак коптит неугасимая лампада? Подошел, поправил фитиль и набожно перекрестился.

А начать хлопоты за Гоголя лучше всего, конечно, со Смирновой. Александра Осиповна Смирнова, в девичестве Россет, была в свое время любимой ученицей профессора Плетнева, потом стала фрейлиной императрицы, а после замужества сохранила положение придворной дамы, близкой к царскому дому. Сам государь Николай Павлович оказывал, бывало, особое внимание обольстительной красавице. Впрочем, тут могли обнаружиться щекотливые обстоятельства, которых Плетнев никогда не касался. Сказано в священном писании: сердце царево в руце божией!

Стоило, однако, подумать о Смирновой, как сейчас же явилась другая мысль: удобно ли миновать в хлопотах за Гоголя могущественного царедворца графа Виельгорского?

Но ни к Виельгорскому, ни к Смирновой Петр Александрович ни в тот, ни в следующие дни не поехал. Своих дел по горло. А Гоголя надо знать: если ему что-нибудь приспичит, так вынь ему и положь! Правда, в письме жаловался Гоголь на припадки, которые приняли у него какие-то странные образы. Да ведь всем известно: охоч Николай Васильевич ссылаться на свои необыкновенные болезни. Конечно, дан ему великий талант. В том нет спора. Но доколе же будет он смехом своим порицать и разрушать?

Думалось о Гоголе, но тут вспомнился Виссарион Белинский. Издавна ратует он за Гоголя, но как? При каждом случае выпячивает темные стороны жизни, схваченные Гоголем, и толкует о них вкривь и вкось. А Николай Васильевич волей или неволей дает пищу смутьянам. Неужто он сам этого не понимает?

Много и долго думал о Гоголе профессор Плетнев, пожертвовав даже необходимыми часами сна.

Хотел было заняться судьбой «Мертвых душ» и граф Виельгорский, но в это время назначили большой бал у великой княгини, и почетному устройителю придворных празднеств было не до Гоголя. По счастью, Михаил Юрьевич встретил где-то университетского профессора словесности и одновременно цензора Александра Васильевича Никитенко.

– На ловца и зверь бежит! – любезно обратился к нему граф Виельгорский. – Имею к вам покорную, хотя, может быть, и обременительную просьбу: прочтите рукопись Гоголя, присланную им из Москвы, и одолжите вашим просвещенным мнением, – разумеется, неофициальным и предварительным... Предварительным, – еще раз повторил, изящно грассируя, Михаил Юрьевич, – а дальнейшие шаги, если удостоите чести, обсудим совместно.

Профессор Никитенко был очень польщен вниманием знатной особы. Граф Виельгорский тоже остался доволен: дал наконец делу ход.

Михаил Юрьевич рад содействовать Гоголю. Как забыть, что его собственный сын умер на руках у Гоголя в Италии? Как забыть, сколько внимания отдал умирающему юноше этот участливый к чужой беде человек? Но граф Виельгорский, будучи убежденным поклонником французской фривольной литературы, не совсем ясно представлял себе помыслы русского писателя Гоголя. Толков же о нем ходит, пожалуй, даже чересчур много. Какой переполох поднялся вокруг его комедии «Ревизор»! Мало ли что мог сызнова написать при бойкости пера многоуважаемый Николай Васильевич... Заручиться мнением опытного цензора было при таких обстоятельствах очень полезно. Во всяком случае, куда благоразумнее, чем везти рукопись императору. Чудак Гоголь, этакий чудак!

«Мертвые души» попали к цензору Никитенко. Вот, собственно, и все, что сделали именитые друзья Гоголя. Впрочем, тот же цензор Никитенко мог бы принять рукопись от автора и без всяких ходатайств, просто по обязанностям службы.

Ничего не зная о намерении Гоголя искать высшего суда в столице, Александр Васильевич Никитенко раскрыл «Мертвые души». Гоголь! Даже имени этого не произносят равнодушно: одни хулят его с пеной у рта, другие хвалят с безудержным восторгом. Профессор Никитенко не разделял этих крайностей. По цензуре уже приходилось ему иметь дело с Гоголем в прежние годы, когда Гоголь представил занимательную повесть о ссоре какого-то чудака Ивана Ивановича с таким же чудачком Иваном Никифоровичем и, помнится, написал к этой повести весьма ядовитое, двусмысленное предисловие.

И вот – новая встреча с писателем, каждое слово которого производит всеобщее смятение. Необходима сугубая осторожность!

Старинные часы отбивали час за часом. Шелестели медленно переворачиваемые страницы. Никитенко читал не отрываясь, совершенно позабыв о том, что рукопись вручена ему как цензору. Кончил и снова начал читать с первой страницы – будто заглянул вместе с Гоголем в бездонный омут. Но тут Александр Васильевич вспомнил об обязанностях цензора, и многое в поэме представилось сомнительным. Взять хотя бы заглавие – «Мертвые души».

Просвещенный профессор столичного университета не повторял тех благоглупостей, которыми с перепугу встретили произведение Гоголя в московской цензуре. Но как не угадать опытному цензору умысел автора? Александр Васильевич перечитал повесть о капитане Копейкине. Такого пассажа никто и никогда не пропустит! Тут даже в высшем правительстве показаны те же мертвые души. Один министр-вельможа чего стоит!

А читатель Никитенко так и противоборствует Никитенко-цензору:

«Спасай эту удивительную, неслыханную поэму, коли попала она в твои руки».  
«Да как же ее спасти?» – недоумевает многоопытный цензор.

## Глава третья

Над Петербургом опустились ранние февральские сумерки. Густым туманом клубятся улицы. Как бесплотные тени движутся прохожие. Мелькнет молчаливая тень – и снова скроется в белесой мгле. Только и слышно, как отбивают четкую дробь чьи-то тяжелые каблуки или старость выдаст себя натруженными шагами; властным звоном объявят о себе гвардейские шпоры, да бойкой скороговоркой откликнутся им женские сапожки.

Все гуще клубится туман, а столица живет привычной жизнью.

К театрам спешат кареты. Если блеклый луч уличного фонаря успеет заглянуть в зеркальное стекло, за стеклом обозначится кокетливый капор, а под капором – чуть вздернутый носик и свежие, пухлые губы. Но какой дьявол шутит свои шутки на улицах, объятых злоеющим маревом? Когда успела красавица превратиться в безобразную старуху? А старуха тоже исчезает, как призрак. Кареты катятся одна за другой; невидимые кучера все чаще покрикивают с невидимых козел: «Эй, берегись!»

В семейных домах, где назначены балы, девицы на выданье обдумывают наряды и ведут доверительные беседы с зеркалом. Кто пригласит сегодня на первый вальс? От сладостного волнения вздымается грудь, а зеркало равнодушно отражает потаенные прелести, которые вот-вот будут в меру прикрыты от любопытных глаз воздушным кружевом и батистом.

Все идет в столице привычной чередой. Ярче вспыхивают парадные огни. А там, где ютится беднота, там лежит на слепых оконцах грязная наледь. Туман оседает на ней мелкими каплями, капли собираются в мутные ручьи. Кажется, что плачут кособокие домишки. О чем? Бог весть. Ни к чему знать, как коротают время люди, для которых нет в Петербурге ни театров, ни балов, ни беспечной юности, ни достатка.

Вот уж и на дальних улицах, на задних дворах, во флигелях и в подвалах перемигиваются ожившие оконца, словно сами дивятся: батюшки-светы, сколько же канцелярского племени расплодилось в столице!

А поутру снова высыпает на улицу служивая мошकारа и трусит в должность.

Бывает, что несет от незадачливого чиновника странным составом, в котором перемешались запахи застойной плесени, лука и сивушного перегара. Вызовет его к себе начальственное лицо для очинки перьев и скажет, помахивая рукой: «Встань-ка ты, братец, подальше!..» Если же особо чувствительно начальственное лицо в рассуждении чистоты атмосферы, тогда будет грозно махать обеими руками: «Эк ты пропитался, скотина! Ступай на место!» И шмыгнет виновный в дальний угол канцелярии и будет шуршать бумагами, как запечный таракан.

Конечно, есть в столице и такие присутственные места, где даже последняя сошка может взять благодарность с просителя или протесниться к казенному пирогу. Только не каждому ворожит судьба. У тех, кто сидел когда-то со счастливецом за одним столом и писал таким же обгрызенным гусиным пером, ничего не изменилось. У холостого – все тот же картуз с табаком на колченогом столе. У женатого – не пустует зыбка. А наследники, что подросли, путешествуют под стол собственным ходом или копошатся летом на пыльных задворках. Играют наследники в свайку и не ведают, что жить им, как родителю, у той же чернильной банки да владеть при удаче разве что новым гусиным пером.

Но коротко в Петербурге летнее тепло, долги осени и зимы. Наглухо закрываются тогда убогие оконца; кропят их дожди, слепят снега, точат туманы.

Кто заглядывал в эту жизнь? Кто знает, как унижен может быть человек в пышном городе дворцов и монументов?

– Ан есть такой писатель на Руси, который смело раздвигает все завесы!

Белинский шел медленно; от сырости было трудно дышать. Пошел еще медленнее, а мысли летели со стремительной быстротой.

Вчера встретился ему князь Одоевский: «Могу обрадовать вас, Виссарион Григорьевич, приятной новостью: «Мертвые души» попали к просвещенному цензору Никитенко. Поверьте, теперь все разрешится к полному удовольствию Николая Васильевича». «Если бы так! – размышлял Белинский. – Да ведь надо же знать неистребимое благодушие Владимира Федоровича...»

– Эй, берегись!

Из белесого марева вынеслась на перекресток щегольская карета. Белинский едва успел отпрянуть и чуть было не угодил под встречные сани. По счастью, идти оставалось совсем недалеко.

У Ивана Ивановича Панаева, автора известных повестей и деятельного участника «Отечественных записок», собирались преимущественно сотрудники «Отечественных записок» или люди, близкие к журналу.

Когда Виссарион Григорьевич вошел в гостиную Панаевых, Иван Иванович приветствовал гостя из-за полураскрытых дверей кабинета:

– Виссарион Григорьевич? Сердечно рад! Сейчас освобожусь. Дописываю последние строки. Сделайте милость, поскучайте пока с Авдотьей Яковлевной.

– Вам не остается ничего другого, Виссарион Григорьевич, как покориться совету моего повелителя. – Сдерживая улыбку, Авдотья Яковлевна Панаева усадила гостя в покойное кресло. – Не узнаю Ивана Ивановича, – продолжала она, – начинаю подозревать, что и Панаев может приохотиться к усидчивым занятиям. Не удивлюсь, если станут называть его домоседом!

– Панаев – и домосед? – откликнулся Белинский. – Еще обидится, пожалуй, Иван Иванович, если припишут ему такую мещанскую добродетель. Панаев! Вы слышите?

– Не слышу, ничего не слышу, – отвечал из кабинета Иван Иванович, ушедший с головой в занятия.

Авдотья Яковлевна еще раз улыбнулась. Потом спросила серьезно:

– А чем же вы, Виссарион Григорьевич, порадуете читателей в мартовской книжке «Отечественных записок»?

– Если попустят бог и цензура, хочу, во-первых, сполна расчесть с москвитянами. Побывав в Москве, воочию увидел я, как растет их дурь и мерзопакостная страсть к доносам. Но если буду перечислять все, что готовлю в мартовскую книжку, боюсь, не скоро кончу.

– Я, право, не соскучусь. А Иван Иванович, как видите, не собирается нам мешать.

Белинский не очень свободно чувствует себя в дамском обществе, что не относится, однако, к Авдотье Яковлевне Панаевой. Эта юная дама, едва переступившая за порог своего двадцатилетия, счастливо наделена многими качествами: красотой, еще только расцветающей, недюжинным умом, не по-женски рано созревшим, и острым, наблюдательным взглядом больших черных глаз. Авдотья Яковлевна всему предпочитает душевные разговоры с Белинским и именно с ним бывает сердечно-проста, доверчиво-откровенна и пытливо-любопытна. Они могут беседовать часами, этот сутулый человек, с лицом, изможденным трудами и болезнью, облаченный в мешковатый сюртук, и признанная красавица, полная юных сил, одетая с той элегантною простотой, которая обходится, впрочем, куда дороже, чем любое произведение броской и преходящей моды.

– А где же наши? – Панаев появился в гостиной со стопкой свежеисписанных листов. – Опять опаздывают?

Авдотья Яковлевна и Белинский ответили ему дружным смехом: сам Иван Иванович никогда и никуда не мог попасть вовремя.

– Они опаздывают, – продолжал в негодовании Панаев, – а я тружусь ради них, профанов, не шадя сил!

– И за то мы, профаны, будем смиренно сопровождать тебя до самого порога храма бессмертных. – В дверях гостиной стоял любимый товарищ Панаева еще по школьной скамье, Михаил Александрович Языков.

Языков тоже причастен к «Отечественным запискам», но литературная судьба школьных товарищей сложилась по-разному. Панаев пользуется широкой известностью, Языков больше всего ударяет «по смесям». Его собственный каламбур имеет в виду не столько комбинации из горячительных напитков, сколько журнальный отдел «Смесь» в «Отечественных записках», где и печатает свои скромные труды этот образованный выходец из помещицкой среды.

Слегка прихрамывая по прирожденному недостатку, Михаил Александрович занял место подле хозяйки дома.

– Имею для тебя преприятнейшее известие, Панаев, – обратился он к Ивану Ивановичу.

– Знаю твои известия, – отмахивается Панаев. – Опять что-нибудь совершь.

– А вот извольте послушать, господа! – Михаил Александрович обвел слушателей глазами. – Иду я сегодня к тебе, Панаев, и в тумане ничего не вижу. Трезв со вчерашнего дня, но дома от дома отличить не могу. Едва не перевернул на углу полицейскую будку, а на здешней улице, как в лесу, заблудился. И вдруг возник передо мной, как смутное пятно, какой-то человек. «Может быть, вы, сударь, – спрашиваю, – случайно знаете, где живет писатель Панаев?» – «Как не знать, – отвечает призрак застуженным басом, – идите, говорит, прямо, а там свернете в первое парадное». Каково? Первый встречный – и тот тебя знает. Вот она, слава!

– Каков был из себя тот встречный? – все больше заинтересовывался рассказом Иван Иванович. – Надо думать, из образованных чиновников?

– Да разве в этом чертовом тумане что-нибудь рассмотришь! По счастью, незнакомец подошел ко мне близко, и лицо его вдруг осветилось вспыхнувшей сигаркой...

– Ну, ну! – торопил Панаев.

– И тут... – Языков даже привстал с кресла, словно заново переживая памятную встречу, – тут-то я и узнал Илью!

– Какого Илью?! – Иван Иванович совсем опешил.

– Того самого Илью, – деловито заключил рассказчик, – который служит дворником в вашем доме.

Иван Иванович смеялся вместе со всеми. По слабости к литературной славе он опять стал жертвой Языкова, но в простодушном его смехе не было и тени обиды.

В гостиной появились новые гости.

– Господа! – встретил их Панаев, которого все еще душил смех. – Пусть злодей Языков расскажет вам про дворника Илью... Тот самый, говорит, что служит в нашем доме... Ох, не могу! – и он снова зашелся от смеха.

Вновь прибывшие Николай Яковлевич Прокопович и Александр Александрович Комаров, естественно, ничего не могли понять. Они устремились к хозяйке дома, потом к Белинскому.

И Комаров и Прокопович преподают русскую словесность в столичных военных учебных заведениях; оба страдают страстью к стихотворству и тяготеют к «Отечественным запискам».

Когда Александр Александрович, самовольно расширяя программу, говорит на уроках о Пушкине, Лермонтове или Гоголе, ученики его знакомятся со многими мыслями, высказанными Виссарионом Белинским.

Прокопович охотнее всего рассказывает ученикам о Гоголе. Может быть, и не дерзнул бы на это пугливый Николай Яковлевич, если бы не особые обстоятельства. Прокопович учился с Гоголем. Школьная дружба оказалась неразрывно прочной. Рассказывает Прокопович ученикам о Гоголе и, кажется, сам дивится: за что судьба наградила его, человека ничем не примечательного, вниманием столь знаменитого писателя? Задумается медлительный Прокопович и непременно прибавит: «А великую силу Гоголя раньше всех понял критик Белинский».

Белинский и завладел Прокоповичем, едва он появился у Панаевых.

– Что слышно от Гоголя?

– До слез горько читать его письма, Виссарион Григорьевич. Ждет Николай Васильевич решения участи «Мертвых душ» и томится. Боюсь, совсем изнемог. А что ему ответишь?

Разговор о «Мертвых душах» стал общим. Из Москвы шли новые слухи, но все было в них смутно. Прав был Виссарион Белинский, когда говорил Гоголю, что он не имеет понятия о содержании «Мертвых душ». Но не зря же и Гоголь, рассказывая о происшествиях в московской цензуре, вложил в уста председателя комитета главное себе обвинение: «Против крепостного права?! Трижды запретить!» Чего же доброго можно ждать после этого от цензуры петербургской?

– Господа! – сказал Панаев. – Каждый из нас будет стараться разведать при случае, что творится в цензуре; надеюсь, буду и я не последним разведчиком. А сейчас приступим к делу.

– Не согласен! – решительно вмешался Языков. – И предлагаю: ни к чему не приступать до прибытия всеми нами уважаемого редактора-издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского.

Шутка имела успех: Андрей Александрович Краевский никогда не бывал на сборищах, подобных сегодняшнему. Став хозяином первоклассного журнала, он, несмотря на молодость лет, тяготеет к обществу влиятельных особ. Даже при общеизвестном своем либерализме он наверняка испытал бы потрясение умственных и душевных сил, если бы заглянул в рукописные листы, которые разложил на столике перед собой Иван Иванович Панаев.

– К делу, господа! – повторил Панаев, несколько рисуясь по неистребимой привычке. – Сегодня я предложу вашему вниманию перевод одной из важнейших речей Максимилиана Робеспьера – ее точный текст по «Монитёру»...

Дело происходит в столице русского императора Николая I, находящейся под особым надзором высшей полиции. Кажется, взяты под наблюдение шпионов – явных, тайных и добровольных – даже сокровенные мысли жителей Петербурга. А в квартире литератора Панаева готовятся внимать речам Максимилиана Робеспьера! И собрались вовсе не какие-нибудь заговорщики, плетущие нити адского заговора. Даже изящная дама присутствует на сходке.

Такие чтения происходят у Панаевых не первый месяц. Конечно, история Французской революции 1789 года ведома в той или иной мере образованным русским людям. Но Панаев умеет отобрать для перевода такие документы, в которых как нельзя лучше отражаются кипучая атмосфера политических клубов, революционная жизнь площадей и предместий Парижа.

Но, едва вознамерился Иван Иванович увлечь слушателей в далекую Францию, в события давних лет, русская действительность напомнила о себе резким звонком, раздавшимся в передней.

Иван Иванович стал поспешно собирать крамольные листы, как будто это могло помочь, если бы за дверями уже стоял офицер в голубом мундире с обычной свитой из бравых жандармов.

Напряжение разрешилось, когда из передней послышался знакомый голос и в гостиную вошел еще один близкий человек – Иван Ильич Маслов.

– Нелегкая вас возьми, mon cher! {Мой дорогой (*франц.*).} – приветствовал его хозяин дома. – Сначала вы безбожно опаздываете, а потом пугаете порядочных людей.

– Да еще при вашей должности, Иван Ильич! – пошутил Белинский.

– Имеются ли, Иван Ильич, новые постояльцы?

Маслов состоял секретарем при коменданте Петропавловской крепости, куда испокон веков ввергали наиболее опасных вольнодумцев. При всей незначительности своей секретарской должности он мог рассказать о том, что творится в крепостных казематах.

Никаких новостей у Ивана Ильича Маслова на этот раз не оказалось. Чтение наконец началось.

Панаев читал знаменитую речь Робеспьера. С гневом обрушился Робеспьер на политическое примиренчество, столь присущее жиронде и столь опасное для революции. Всякое примиренчество неминуемо оборачивается предательством, когда нарастающая опасность грозит революции со всех сторон: от аристократов и их многоликой агентуры, от международной реакции, открыто собирающей силы для разгрома революционного Парижа. В этих исторических условиях и обосновал Робеспьер необходимость революционного террора.

На этой части речи Робеспьера и сосредоточился переводчик. Иван Иванович Панаев читал речь вождя якобинцев с той горячностью, с которой никогда не произносил своих речей Робеспьер. Эта горячность была понятна. Ведь и Робеспьер погиб именно потому, что не проявил решительности в те грозные дни, когда созрел заговор против революционной диктатуры Конвента. Еще оставались считанные минуты, отделявшие контрреволюцию от победы, но именно в это время Робеспьер, с железной логикой обосновавший право революции на подавление врагов и предателей, выпустил из рук управление событиями.

Все это знал, конечно, Иван Иванович Панаев и потому читал речь Робеспьера с волнением.

– Каково наше мнение, господа? – вопросом заключил он свое чтение.

Никто не откликнулся.

Тогда заговорил Виссарион Белинский.

## Глава четвертая

Часы били медленно, но настойчиво; потом наступила неожиданная тишина, от которой Белинский проснулся. Глянул на часы – одиннадцать! Укорил себя в лености, а сам продолжал лежать и размышлял: что же, собственно, вчера у Панаевых произошло?

Встал, отпил чай, наскоро просмотрел почту и, вместо того чтобы приняться за работу, опять задумался. Конечно, он говорил вчера, пожалуй, откровеннее, чем обычно. Но что же нового он сказал? Что правда утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами прекраснодушной жиронды, а обоюдоострым мечом слова и дела? Пока говорил он все это применительно к речи Робеспьера – спасибо, хоть Панаев к нему присоединился. Остальные так и ринулись на защиту «благородной» жиронды.

Но ведь он-то, Белинский, говорил не столько о Франции, сколько о России, и не столько о прошлом, сколько о будущем.

Но тут, вспомнив вчерашние споры, Виссарион Григорьевич горько улыбнулся и пошел мерить тесный кабинет быстрыми шагами.

На рабочей конторке лежала стопка приготовленной бумаги, но он так к ней и не прикасался. А истекали последние дни подготовки мартовской книжки «Отечественных записок», и от редактора-издателя журнала накопилась целая груда записок. Андрей Александрович Краевский просил, торопил, напоминал и снова торопил.

Но если бы только привычные докуки от Краевского! Новая записка, доставленная из редакции, оповестила о неприятностях куда более важных. Краевский просил почтеннейшего Виссариона Григорьевича незамедлительно наложить приличные швы на те места в его статьях, в которых цензура не оставила ни последовательности изложения, ни даже смысла. Присланные вместе с запиской статьи Белинского свидетельствовали об этом со всей наглядностью.

Еще раз пересмотрел их Виссарион Григорьевич и гневно развел руками. Какие швы могут помочь там, где цензура рубит топором? А сам знал, конечно, что будет изощрять ум, чтобы спасти для читателей все, что можно спасти. Только не сейчас! Не давали покоя вчерашние споры.

Белинский был явно не в духе, когда заехал Панаев.

– Ну и напугали мы нашу братию Робеспьером! – начал гость, присматриваясь к хозяину. – Да ведь Робеспьер что? История! Но когда слышали вашу речь, Виссарион Григорьевич, тут и вовсе струхнули наши храбрецы.

– Как бы не ожили, сохрани бог, грозные тени? – усмехнулся Белинский.

– Э, нет, Виссарион Григорьевич! Будущее пострашнее будет. А вы как раз и стали прочить революционные потрясения России. Тут, я думал, чудака Прокоповича первого удар хватит, а за ним и Маслова.

– Чего же им опасаться? Прокопович наверняка дождетя пенсионера за беспорочную службу. И Маслов, честная душа, может до конца дней ходить на службу в Петропавловскую крепость. Во Франции восставший народ взял приступом ненавистную Бастилию, но кто и когда посягнет у нас на твердыню самовластия? Чего же им опасаться? Не первый раз говорю я о революции и, надеюсь, не в последний. Но как бы ни было далеко это спасительное будущее, каждый раз вижу, что вырастает передо мной глухая стена. Оно лучше, конечно, пребывать в болоте безмятежного созерцания, чем заглянуть вперед без страха.

– Без страха? Когда заговорили вы о неминуемых при революции жертвах, тут, если заметили, и Языков отпрянул. Не говорю о Комарове.

Белинский глянул на гостя, стремительно поднялся и, словно заглядывая в будущее и к этому будущему обращаясь, высказал накопившуюся тревогу:

– Как же разрушить наше проклятое прекраснодушие? Как его истребить?

Было время, когда Виссарион Григорьевич называл прекраснотушим всякую попытку восстать против существующей действительности. Это было еще в Москве, во время увлечения философией Гегеля и его формулой: «все, что разумно, то и действительно; что действительно, то и разумно». Казалось, эта формула бросает ослепительный свет на всю историю человечества. В истории нет, оказывается, ни произвола, ни случайности. Всякий момент жизни велик, истинен и свят. Во имя этой философской формулы оставалось признать необходимо сущей и русскую действительность с ее самовластием и крепостным правом, хотя противились этому и разум и совесть.

Но недолго оказался плен.

Белинский снова вернулся к поиску законов, которые управляют движением человечества. Теперь Белинский видит в истории непрерывное бореие противостоящих сил; от разума и воли людей зависит развитие и направление этой борьбы. Следовательно, действие – главное назначение человека. Виссарион Григорьевич называет теперь русскую действительность не иначе, как гнусной, и объявил ей беспощадную войну. Он снова говорит о прекраснотушине, но как! Теперь он называет прекраснотушим всякую попытку врачевать язвы русской действительности при помощи утешительных пластырей. Жечь надо эти язвы каленым железом. Только меч революции их истребит. Нет другой метлы, нет другой скребницы.

И снова повторил Белинский, стоя перед Панаевым:

– Так как же покончить нам с проклятым прекраснотушим? – Всю страсть, все нетерпение, все надежды вложил он в этот вопрос.

– Я готовлю новые материалы к очередной сходке, – отвечал Панаев. – Перевожу – у самого дух захватывает. Однако же сомневаюсь: найдутся ли охотники слушать мои переводы?

– Послушать-то авось придут, хотя бы любопытства ради.

– Буду надеяться вместе с вами, Виссарион Григорьевич. А что, если не управлюсь к субботе? Многие дела меня отвлекают.

– Какие такие объявились у вас чрезвычайные дела?

– Разные, Виссарион Григорьевич... – Панаев смутился.

– Разные, говорите? – Белинский покосился. – Коли так, выкладывайте начистоту.

– А коли начистоту, тогда извольте, – охотно согласился Иван Иванович. Ему и самому не терпелось кое-чем похвастать. – Назначен, Виссарион Григорьевич, на предстоящую субботу ничем не примечательный маскарад, но я, грешный, имею некоторые виды. Получил, представьте, интригующее письмо. Не подумайте, однако, чего-нибудь дурного... Просто обратила внимание на вашего покорного слугу некая дама, и, видимо, с поэтическим воображением. Но, натурально, ни слова об этом Авдотье Яковлевне!

– Авдотья Яковлевна видит вас лучше меня. Попадется как кур во щи, заранее вам пред-рекаю!

Иван Иванович поспешил уклониться от неприятного разговора:

– Так на какой же день, если не на субботу, назначим, Виссарион Григорьевич, нашу сходку?

– На любой, – серьезно отвечал Белинский, – когда не случится в Петербурге ни одного соблазнительного маскарада, а Иван Иванович Панаев, будучи свободен, сможет читать нам, скажем, о якобинской диктатуре, с тем, однако, чтобы вовремя попасть на следующий маскарад... Этакая пошлость!

Иван Иванович хотел протестовать и, может быть, опять бы сослался на поэтическое воображение прекрасной незнакомки, но Белинский продолжал:

– А может быть, настанет когда-нибудь такой счастливый день, когда к черту полетят все утешительные маскарады, которыми потчует нас наша гнусная действительность?.. Впрочем, я, кажется, действительно зарпортовался, – сам себя перебил Белинский.

– Чуть было не забыл, – сказал, прощаясь, Иван Иванович. – За завтраком вдруг говорит мне Авдотья Яковлевна: «Не все я понимаю из того, о чем говорил вчера Виссарион Григорьевич, но вот странно: когда слушаю его, я особенно ясно чувствую пустоту всех других речей». Не хочу скрыть мнения Авдотьи Яковлевны, столь лестного для вас, Виссарион Григорьевич, и столь же огорчительного для других, начиная, очевидно, с меня. Не так ли?

Панаев уехал. Виссарион Григорьевич, глядя ему вслед, заключил по привычке вслух свои мысли о литературных трудах Ивана Ивановича:

– Мог бы писать и лучше и глубже, если бы не был свистуном, ветрогоном и бонвиваном...

По-видимому, действительно не в духе был сегодня Виссарион Белинский. Все еще не мог освободиться от вчерашних впечатлений.

А что, собственно, на сходке у Панаевых произошло? Но в том-то и дело, что ничего нового не случилось. Стоит ему заговорить о будущем – а это будущее России неотделимо от революции, – и люди начинают слушать его с растерянной улыбкой или вовсе от него шарахаются.

Вокруг Белинского собираются немногие близкие друзья: просвещенные учителя и чиновники, образованные выходцы из помещичьей среды и люди, пробившиеся к просвещению из низших сословий. В миниатюре это тот же круг читателей, который складывается и в столице и в провинции – везде, куда доходят «Отечественные записки».

Нет нужды повторять, что первопричиной российских бед является крепостное право. И как ведь разгорячится для начала человек: не век, мол, будет тяготеть над Россией этот позор! А потом тем охотнее отдастся прекраснодушию: явятся-де просвещенные помещики, которые сами поднимут голос за освобождение крестьян. И народ, просветившись, обретет свободу. Не может, мол, стоять жизнь на месте без движения. Вот она, жизнь, в свое время и распорядится. Чего же лучше?

– Слова, слова, слова! – в бешенстве повторял Белинский, кружа по кабинету. – Утешительные пластыри!

Болеющие недугом прекраснодушия охотнее всего величают себя либералами. И опять звучит слово возвышенно и благородно! Вот и толкуй им о том, что условия жизни надо революционно изменить на благо большинству человечества, которое страдает в бесправии, лишениях и нищете...

Учителя социализма – Сен-Симон, Фурье и другие, – выступающие на Западе, непрерываемо доказали, что источником страданий человечества является неразумное и несправедливое распределение жизненных благ. На смену должно прийти новое общество, в котором утвердятся разум и справедливость. Картина будущей счастливой жизни человечества еще неясна и туманна, и все это похоже на те утопии, которые издавна создают передовые умы. Но в беспощадном осуждении существующих порядков – первая заслуга приверженцев социализма.

– Что мне в том, – горячится Виссарион Григорьевич, – если какой-нибудь гений живет в облаках, а толпа валяется в грязи? Что мне в том, если мне открыт мир идей, искусства, истории, а я не могу поделиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству?

Но провозвестники социализма думают, что перестройка общества совершится добровольно, без потрясений, без принуждений, без жертв.

Русский литератор Белинский понимает всю беспочвенность таких мечтаний. Обращаясь к истории, он видит, что ее героями были разрушители старого. История учит, что единственное средство такого разрушения – революция. Стало быть, только через революцию может приблизиться человечество к социализму. А в России, где еще нужно покончить с рабством, с азиатчиной, будущее тем паче неотделимо от революции. Надо так писать, чтобы каждое слово, даже искаленное цензурой, зажигало ненависть к настоящему во имя будущего. Надо

так писать, чтобы ненависть полыхала неугасимым пламенем. Спасайтесь от смертельного яда прекраснотушия, братья по человечеству!

Виссарион Григорьевич встал за конторку и ушел в работу.

Вот и не осталось следа от недавнего наваждения, испытанного в Москве. Ни он не пишет Мари, ни от нее нет известий. Все забыла Мари.

А что ей помнить? Что встретила человека, одолеваемого годами и болезнями? Что по щедрости сердца оказала ему участливое внимание? Да что поспорили они невзначай о пушкинской Татьяне?

Нет, лучше вовсе не отрываться от работы, иначе опять полезут в голову несуразные мысли. Неисправимый человек! Ведь было же далекое время, когда он поверил в чудо любви, а чуда не произошло. Тогда, по молодости лет, он безумствовал и рыдал. Впрочем, давно это было...

## Глава пятая

Почетному гостю профессора Погодина Николаю Васильевичу Гоголю отведены особые покои в мезонине дома на Девичьем поле.

Вот и кружит по мезонину почетный гость. Подошел к окну: намело в саду такие сугробы, что краяхи неба и той не увидишь. Зловеще каркает слетевшееся черной тучей воронье.

Именитые петербургские друзья не баловали Гоголя письмами. Прошел январь и половина февраля. Пытка молчанием продолжалась.

Походил-походил Николай Васильевич и опять остановился у окна. Понимают ли медлительные друзья, что он отдал «Мертвым душам» долгие годы самоотверженного труда и полного отречения от мира? Кому скажешь, что он начал писать «Мертвые души» с одобрения Пушкина и ему же были читаны наброски первых глав? Пушкин, Пушкин! Какой чудесный сон приснился ему, Гоголю, в жизни!

За окном быстро темнело. Николай Васильевич зажег свечу и долго смотрел на колеблющееся пламя. Пламя разгорелось ярким светом. Неужто сулит надежду? Наверное, сел наконец в карету добрый граф Виельгорский, положил рядом с собой рукопись «Мертвых душ» и скачет прямехонько в Зимний дворец: «Ваше императорское величество, нельзя лишить писателя справедливости! Не медлите, государь!»

Император обращает к вельможе благосклонный взор. Сейчас раздастся царственное всемогущее слово.

Будто и в самом деле ожидая этого всемогущего слова, Гоголь нетерпеливо прислушался. Но услышал только шаги на лестнице и болезненно поморщился: никак ввалится сейчас Михаил Петрович?

Вошел, однако, не Погодин, а погодинский слуга с запиской. Теперь часто только письменно сносится радушный хозяин дома с почетным гостем. Отношения их портятся изо дня в день. Как возмутились москвитяне, когда проведали, что Гоголь отвез «Мертвые души» Белинскому! Нет-де страшнее греха, чем общение с этим прислужником сатаны. Вот кому заложил душу Николай Васильевич!

Прижимистый профессор Погодин без обиняков напомнил при этом и о денежном долге. А у должника все достояние – в «Мертвых душах», безвестно странствующих в Петербурге.

Гоголь взял от слуги записку. Записка оказалась пустяковой. Всяким вздором досаждают суетный человек Погодин. Коротко ответил на том же лоскутке: «Ради бога, не мешай! Занят».

И опять пошел кружить по мезонину. А по стене ходит за ним чья-то колеблющаяся тень: опущены у тени плечи, никнет голова, еще больше заострился нос.

Доколе же будут медлить петербургские ходатаи?

Нельзя сказать, чтобы Гоголь никуда не выезжал. Его видели во многих московских домах – и у Хомяковых, и у Аксаковых, и у Елагиных. Все это были люди, примыкавшие или к «чисто русскому», или к славянофильскому направлению.

В курительной комнате у Хомяковых помещалась главная славянофильская говорильня. Алексей Степанович Хомяков, человек ученый и стихотворец, богослов и философ, имел любимого конька – православную веру. Запад развращен католицизмом. Россия, приняв учение Христово из Византии, православием и спасется. На Западе, где нет истинной веры, неминуемы распри и смуты. Там на смену католицизму, утопающему в разврате, пришла безбожная наука, прельщающая умы. Россия же сильна истиной, которую черпает из единственного животворящего источника – божественного откровения. И тут, начав диспут с вечера, Хомяков мог разить противников до утра.

Гоголь посидит, насупившись, в хомяковской говорильне и уйдет к дамам. А если и скажет слово, то такое не относящееся к разговору, что сразу видать – ничего не слышал Николай Васильевич.

На смену Хомякову выступал в славянофильских гостиных молодой боец – Константин Сергеевич Аксаков. Его любимым коньком была Москва. Не та Москва, которая хлопотала с раннего утра до поздней ночи. Не замечал Константин Сергеевич и тех людишек, которые простаивали целые дни на торговых площадях в ожидании найма на работу. С неудовольствием смотрел он на открывающиеся в Москве банкирские и торговые конторы. На окраинах же города было и того хуже: одна за другой вздымались к небу закоптелые фабричные трубы. То дьявол, шествующий с нечестивого Запада, зажигал адские огни в Белокаменной.

Константин Аксаков видел перед собой другую Москву – хранилище веры, ковчег преданий. Свято верил юный пророк, что древняя Русь жила во всеобщем согласии, от первого боярина до последнего смерда. Вот за эту воображаемую Москву, стольный град древней Руси, за возрождение ее, наперекор всем бедам, пришедшим на Русь с богомерзкого Запада, и произносил пылкие здравицы Константин Аксаков.

Гоголь терпеливо слушает. А то вдруг коротко отзовется:

– Накинуть на плечи кафтан, хотя бы и древнего стрелецкого покроя, еще не значит постигнуть русский дух.

Вот и зааркань после этого Николая Васильевича в славянофильскую веру!

И все-таки часто ездил Гоголь к Аксаковым. У Аксаковых его окружали откровенным и наивным благоговением. К его прибору ставилось лучшее вино. При первом его слове все умолкало. Увидит этакое благоговение Николай Васильевич и уже ничего не скажет или, сославшись на недомогание, уйдет в хозяйский кабинет. А в другой раз надолго опоздает к званому обеду.

И гадают Аксаковы всем семейством: чудит или возгордился великий человек?

Да, Гоголь выезжал. Собственноручно варил макаронеры по-итальянски в дружеской компании, принимал приглашения на вареники, а еще охотнее ехал, если обещали попотчевать любимыми украинскими песнями. Разойдясь, он и сам подтягивал певцам. Будучи в ударе, рассказывал причудливые истории. Когда же изнемогут слушатели от смеха, глянет на них Николай Васильевич со всей серьезностью: что-де такого смешного он сказал? А тут уже вовсе начинают хвататься люди за животы.

Все было, казалось, так, как в прежние годы. Но случается, что вдруг оборвет Гоголь речь на полуслове и, уйдя в себя, не обращает ни на кого никакого внимания; иногда же порывисто встанет и, едва распрощавшись, полный тревоги, поспешно уедет на Девичье поле и там надолго укроется в мезонине.

Прислушается, занимаясь в своем кабинете, Михаил Петрович Погодин: что там, наверху? А из мезонина, бывает, часами ничего не слышно. Даже слугу не позовет к себе почетный гость. Невдомек было заботливому хозяину, что с Гоголем случались глубокие обмороки и, лишившись сознания, он подолгу лежал один, без всякой помощи.

Потом очнется Николай Васильевич, смятенный, бледный. К сердцу подкатывается необъяснимая тоска. В ужасе содрогается он и подолгу глядит в пустоту невидящими глазами.

Ведь писал он недавно Плетневу, жалуясь на припадки, которые принимают странные образы. Но где же знать тишайшему Петру Александровичу, что значат эти странные образы, являющиеся неведомо откуда и преследующие, как разъяренные демоны?

Февральские вьюги, вволю покуражившись над Москвой, пели ей последние свои песни. Все громче шумело на Девичьем поле воронье. Кажется, что каркают, проклятые, короткую, но зловещую песню:

«Зарежут твои «Мертвые души» в петербургской цензуре! – И засматривают в окна мезонина сверлящими глазами. – За-р-режут!..»

Взметнется крылатая чернота до самого неба, так что померкнет свет. Воронье или ведьмы, принявшие черное птичье обличье?

И вдруг – короткое, глухое известие от Плетнева: «Рукопись пропускается!»

Гоголь перечитал письмо несколько раз. Неужто поедет Чичиков по помещичьим усадьбам? Поедет! Вот уж и колокольчик заливается под дугой.

Долго прислушивался к этим бойким, любезным сердцу звукам автор «Мертвых душ», словно и сам снаряжился в дорогу. Потом, в тот же день, ответил Плетневу: «Добрый граф Виельгорский! Как я знаю и понимаю его душу».

Но жестоко ошибся на этот раз великий сердцевед. Добрый граф Виельгорский давно забыл о «Мертвых душах». Все дело взял в свои руки цензор Никитенко. Он и сам правомочен решить судьбу рукописи. Профессор Никитенко отнюдь не собирался нарушить служебный долг. Ему уже приходилось сиживать на гауптвахте за недосмотры при пропуске рукописей в печать. А сейчас то и дело сажают цензоров под военный караул или вовсе выгоняют со службы за малейшее послабление. Министр просвещения Уваров отдал строжайший приказ: «Употреблять особую осмотрительность при цензуровании сочинений, авторы которых как бы исключительным предметом своих изображений избирают нравственные безобразия и слабости, и о всех описаниях такого рода, заимствованных из нашего отечественного быта, представлять предварительно начальству».

– Что же в таком случае и запрещать, как не «Мертвые души»? – задает себе резонный вопрос цензор Никитенко.

Он уже намекнул по дружбе профессору Плетневу, что ломает себе голову над тем, как очистить рукопись Гоголя для печати. Намекнул и раскаялся в преждевременном сообщении. С того дня хранит цензор Никитенко таинственное молчание. Если и удастся очистить «Мертвые души», то останутся в рукописи глубокие раны.

Впрочем, Александр Васильевич, чуждый крайностей не только в мыслях, но и в выражениях, предпочитает называть эти раны царапинами на нежной и роскошной коже «Мертвых душ».

Читатель Никитенко не мешает больше Никитенко-цензору. Все сообразив и обдумав, Александр Васильевич обмакнул перо в красные чернила.

На «Мертвых душах» появились первые царапины.

## Глава шестая

«Мертвые души» пропускаются! Вот и поехать бы Николаю Васильевичу со двора.

А он сидит в мезонине и перечитывает старое письмо, полученное чуть ли не три месяца тому назад. Письмо писано изящным женским почерком, но с теми ошибками против русской грамматики и слога, которые непременно сделает светская женщина, привыкшая излагать свои мысли по-французски. Если же всмотреться в неустановившийся почерк, то можно безошибочно заключить, что вышло письмо из рук очень молодой, может быть, даже совсем юной особы.

Что же может писать светская барышня писателю, вовсе неискусному в изображении героев и героинь большого света?

А Гоголь помнит наизусть каждое слово. Перед ним оживают те далекие годы, когда вошел он, безвестный домашний учитель, в петербургский дом генерала Балабина. Его ученица Машенька Балабина, прежде чем взяться за грифельную доску, приседала в глубоком реверансе.

Как полон был тогда домашний учитель смутных замыслов и тайных надежд! Однако северная столица сурово встретила пришельца. Как страшно было одиночество! Зато радушный дом Балабиных Гоголь всегда будет называть единственным в мире по доброте.

Встречи с Балабиными возобновились за границей. В то время Машеньку уже величали Марьей Петровной. В жизни ее бывшего домашнего учителя тоже кое-что произошло.

Однажды в Риме Гоголь сам вызвался прочесть у Балабиных «Ревизора». С каким неподдельным восторгом слушала Марья Петровна! Как тщетны были ее попытки удержаться от смеха. Счастливое, беспечное создание!

Но что-то недоброе случилось с Марьей Петровной после того, как Балабины вернулись из Италии в Петербург. Пусть бы просто тосковала она по роскошному югу, пусть бы родное небо показалось ей старой подкладкой от серой военной шинели. Не это поразило Гоголя. Марья Петровна писала бывшему учителю:

«Нервы так расстроились у меня, что я перехожу от самой сильной печали до бешеной радости. Это, я думаю, еще больше ослабляет те же самые нервы. Итак, нервы делают зло моей душе, а потом душа делает зло моим нервам, – и я почти сумасшедшая».

Может быть, давно забыла о посланном в Москву письме Марья Петровна, развеяв девичьи горести на балах. Гоголь ничего не забыл. Неужто эта бесхитростная душа открыла ему, даже не подозревая, тайну его собственных душевных страданий?

Очень долго не отвечал Гоголь Машеньке Балабиной, боясь коснуться сокровенного.

Николай Васильевич еще раз глянул в сад. Там стояла белоснежная тишина. Между сугробами лег робкий солнечный луч. И какая-то дальновидная пичуга вдруг подала голос, возвещая близкую победу вешних сил.

Какие же демоны терзают душу человека, сидящего за столом?

Гоголь очинил перо, встал и закрыл дверь на ключ. Сумрачный, сосредоточенный, вернулся к столу.

Наконец начал писать о главном:

«Я был болен, очень болен и еще болен донныне внутренне: болезнь моя выражается такими странными припадками, каких никогда со мной еще не было...»

Писал быстро, будто заранее обдумав каждое слово, как медик, который выносит приговор после тщательного изучения болезни:

«Но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене, а особенно когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетающий в мыслях, обращало в исполина, всякое незначи-

тельно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, которую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль...»

Перечитал написанное. Все так! Один бог знает, сколько раз в этом мезонине чужого дома он впадал в небытие, подобное смерти. При одном воспоминании до крови закусил губы.

Теперь каждая строка письма имела прямое отношение к «Мертвым душам», хотя и не было сказано о них ни слова:

«И нужно же в довершение всего этого, когда и без того болезнь моя была невыносима, получить еще неприятности, которые и в здоровом состоянии человека бывают потрясающи. Сколько присутствия духа мне нужно было собрать в себе, чтобы устоять. И я устоял...»

В это хотелось верить, но не очень сильна была, должно быть, вера, если из-под пера вылились новые строки, полные отчаяния:

«Я креплюсь, сколько могу, выезжаю даже из дому, не жалуясь и никому не показываю, что я болен, хотя часто, часто бывает не под силу».

Так вот почему бывает, что на людях вдруг умолкнет на полуслове Николай Васильевич или вперит в окружающих тревожный, подозрительный взгляд: то покажется ему, что кто-то неспроста спросил его о здоровье, то, обуреваемый нарастающим страхом, он пускается в поспешное бегство от людей.

Когда с Гоголем приключилась страшная болезнь в Вене, о которой вспомнил он в письме к Марье Петровне Балабиной, ведь писал он в то время и Плетневу и Погодину. И что же? Все забыли, рассеянные люди!

Гоголь заехал в Вену на перепутье осенью 1840 года. Свежесть духа была такая, какой он давно не знал. В голове, как разбуженные пчелы, зашевелились мысли. Воображение стало чутко необыкновенно. Он переселился в мир героев «Мертвых душ», в котором давно не бывал. И тотчас натянул вожжи кучер Селифан, и неутомимый Павел Иванович Чичиков, завершив деда у Плюшкина, покатыл в губернский город NN.

Но в это самое время невыносимо стеснило грудь. К сердцу подкатилось необъяснимое волнение, над которым он никогда не был властен. Потом пришла черная тоска, объявшая ум и сердце и поглотившая остаток сил. Гоголь бросил работу, но нервическое раздражение возрастало. Тоска стала подобна ощущению приближающейся смерти. Сил хватило только на то, чтобы холодеющей рукой нацарапать завещание – кому и сколько надо уплатить в покрытие его долгов.

Ни случайный доктор, ни добросердечный соотечественник, принимавшие горячее участие в больном, ничем не могли ему помочь. Тогда, с величайшим напряжением выговаривая каждое слово, Николай Васильевич велел посадить себя в дилижанс.

Дорога! Какими целебными тайнами владеешь ты? Уж не рожок ли кондуктора отгоняет черную тоску? Не от стука ли колес бежит прочь призрак смерти?

Едва оправившись от ужаса, объявшего его в Вене, Гоголь через силу бродил по улицам любимого Рима. Даже римское небо не чаровало. Остановится и прислушается к себе измученный страхом человек: ужели неодолимая тоска снова вернется? Разве этого не бывало с ним и раньше?

Еще летом давнего 1829 года он вдруг бежал из Петербурга за границу на первом отходящем пароходе. Как смутное видение промелькнули перед ним тогда Любек, Травемунде, Гамбург. Нигде не задержавшись, он снова вернулся в Петербург, будто очнулся от тяжелого сна.

А на путешествие, предпринятое неведомо зачем, он истратил деньги, присланные матерью для платежа процентов в опекунский совет. Имение могло пойти в продажу с торгов. Так легкомысленно поступил примерный сын.

В то время в Петербурге вышла небольшая книжка: «Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Сочинение В. Алова». Идиллия открывалась предисловием издателей, которые видели

свою скромную заслугу в том, что «по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».

Издателем, автором предисловия и сочинителем идиллии был двадцатилетний Николай Гоголь.

Гоголь-Алов одиноко бродил по петербургским улицам. Автор «Ганца Кюхельгартена» заходил в книжные лавки. Идиллии никто не покупал. Должно быть, неторопливые читатели ожидали появления рецензий.

Рецензии и не заставили себя ждать. Незадачливый «Ганц» был жестоко осмеян и в Петербурге и в Москве.

Тогда автор снова отправился по книжным лавкам, собрал все непроданные экземпляры и снял номер в гостинице. Здесь постоялец повел себя престранно: несмотря на июльскую жару, он прежде всего разжег огонь в печке.

О, равнодушные люди! Неужели не могут тронуть вас страдания оскорбленного сердца?

Поэт, сидя у печки, бегло перечитывал свою идиллию.

– В огонь! – решительно сказал автор и раскрыл наугад следующий экземпляр. – В огонь!

Взяв еще одну книжку, заглянул в эпилог.

Утро застало Гоголя сидящим в кресле подле печки, полной пепла. Мучительная ночь, безрадостное утро!

А ведь уже задумывал он выдать в свет повести, взятые из истории и преданий Украины. Уже давно была отправлена матери просьба: слать сыну все, что она знает и помнит об обычаях, сказаниях и нравах украинцев. Трагическая смерть «Ганца Кюхельгартена» все остановила. Очертя голову Гоголь бросился в путешествие.

Дорога, должно быть, и тогда помогла. В письмах к матери из Любека и Травемунде наряду с высокопарными мольбами о прощении мелькают зоркие наблюдения будущего писателя, освободившегося от сентиментальных мечтаний. Нет, не зря умер незадачливый «Ганц Кюхельгартен»! Не зря обрек его автор очистительному пламени...

Через два года «Вечера на хуторе близ Диканьки» возвестили России о явлении таланта, поразительного по свежести и самобытности. Прикинувшись пасичником Рудым Паньком, Гоголь снова явился перед читателями, и Пушкин первый его приветил.

А со страниц книги, исполненной заразительной веселости, звонких песен и поэтических сказаний, вдруг выглянул Иван Федорович Шпонька – лицо, можно сказать, вовсе не поэтическое. Что любопытного можно рассказать об Иване Федоровиче, который даже для белокурой барышни, той самой, у которой брови были совершенно такие, как в молодости у тетушки Василисы Кашпоровны, придумал один только разговор: «Летом очень много мух, сударыня!» А больше ничего придумать не мог. Но, как ни робок Иван Федорович, именно ему было суждено привести за собой будущих героев Гоголя.

Никогда не говорил автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» о том, что было с ним после сожжения «Ганца Кюхельгартена», почему так спешно выехал он за границу. Только раз в письме к матери признался, что бежал сам от себя.

Может быть, еще тогда, бездумно бросившись в дальнюю дорогу, он неожиданно открыл спасительное средство против приступов неодолимой тоски.

Когда через несколько лет в петербургском театре состоялась премьера «Ревизора», Гоголь покинул театр удрученный, растерянный, почти больной. Чуть ли не всю ночь бродил по сонным улицам. Вспоминая спектакль, содрогался от ужаса. Многие актеры, ничего не поняв в комедии, играли ее как пошлый фарс. И самое удивительное: представив зрителям столь откровенные картины российской действительности, автор «Ревизора» никак, оказывается, не ожидал, что поднимутся против него такие злобные вопли. Словно бы думал Николай Васильевич, что попотчевал сановных зрителей премьеры освежительной конфетой.

Гоголь снова пустился в дальнюю дорогу. Весть о том, что пуля проходимца Дантеса сразила Пушкина, застала его в Париже.

«Никакой вести хуже нельзя было получить из России, – писал он на родину. – Невыразимая тоска!»

Тоска гонит его из Парижа в Рим; мелькают Карлсруэ, Франкфурт, Женева и, наконец, снова Рим.

Гоголь затаился надолго. Тоска обрекает его на бездействие и налетает, как смерч. Улетит смерч, расправит смятые крылья душа, а человек тревожно озирается: нет ли на горизонте нового, едва видимого облачка?

Неизвестно, когда вернется, закружит и пригнет к земле черный недуг. Болезнь возвращается через неопределенные сроки, но возвратится непременно!

Как же не возвратиться ей, когда обрушились на автора «Мертвых душ» неприятности, которые и в здоровом состоянии человека бывают потрясающи...

Но еще не знал Гоголь, когда писал Машеньке Балабиной, какие новые неприятности его ждут.

## Глава седьмая

Александр Васильевич Никитенко процеживал каждое слово «Мертвых душ», вникал в каждое авторское многоточие. Наконец, завершив труд, цензор сделал на рукописи разрешительную надпись, скрепил разрешение гербовой печатью.

Ныне будет называться поэма: «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Очень хорошо! Новое заглавие соответствует сюжету и устраняет возможность кривотолков.

Профессор Никитенко перелистал рукопись в последний раз; дошел до повести о капитане Копейкине.

«Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин? – Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин».

Тут бы почтмейстеру губернского города NN и начать рассказ. Но петербургский цензор давно перекрестил красным крестом всю повесть, от первого слова до последнего.

Капитан Копейкин, который вернулся из похода 1812 года хоть и с пустым рукавом, хоть и на деревяшке, но все-таки живой, теперь погиб в баталии с цензурой. Упокой, господи, его дерзкую душу!

На том и расстался цензор с писателем, возомнившим, что ему сам черт не брат. А окровавленная рукопись «Мертвых душ» обзавелась номером по реестру и датой разрешения: «3 марта 1842 года».

Но именно после этого и случилось с «Мертвыми душами» удивительное происшествие: бесследно сгинула вся рукопись, даром что стояла на ней гербовая печать. День шел за днем, «Мертвые души» так и оставались пропавшей грамотой.

Когда-то сам Гоголь, прикинувшись пасичником Рудым Паньком, выдал в свет подобную историю, случившуюся с дедом дьячка ...ской церкви. Все помнил словоохотливый дьячок Фома Григорьевич: как пропала у деда грамота, зашитая в казацкую шапку; как добыл ее обратно лихой казак у нечистого племени, после того как обыграл старшую ведьму в «дурня».

Но что мог сделать автор «Мертвых душ», когда пропала рукопись в цензурном комитете? Тщетно взывал он к Плетневу. Послал ему переработанную повесть «Портрет». Печатайте в «Современнике», только сообщите, Христа ради, куда девались «Мертвые души»! Будучи совершенно в отчаянии, взял Николай Васильевич и грех на душу, написал Плетневу о «Современнике»: «Это благоуханье цветов, растущих уединенно на могиле Пушкина».

Но и благоуханная лесть не помогла. Плетнев молчал.

«Боже, какая странная участь! – в отчаянии взывал к нему Гоголь. – Думал ли я, что буду таким образом оставлен без всего... Я без копейки, без состоянья выплатить самые необходимые долги... Непостижимое стечение бед!»

В те дни и явилось Гоголю черное, едва видимое облако.

А Михаил Петрович Погодин слал в мезонин одну записку за другой. С настоянием просил дать наконец хоть что-нибудь для «Москвитянина». К случаю опять напомнил о денежном долге. И вырвал незаконченную повесть «Рим». Вырвал, немилосердный человек!

Когда самая жизнь Гоголя была неотделима от участи «Мертвых душ», он должен был обрабатывать «Рим», потом держать журнальную корректуру. Но почему бы церемониться профессору Погодину со своим гостем, пленником и кабальным должником?

А может быть, и там, в Петербурге, тайно отдана рукопись «Мертвых душ» на посмеяние и расправу врагам? Может быть, истребляют они «Мертвые души» по листочку и, правя сатанинский шабаш, гогочут и лают, ржут, и хрюкают, и верещат – и некуда от этого гомона укрыться...

Непостижимое стечение бед! Болезнь властно стучалась в двери мезонина, в котором изнемогал автор пропавших «Мертвых душ».

## Глава восьмая

В погожий мартовский день московский профессор Степан Петрович Шевырев взошел на университетскую кафедру, чтобы прочесть лекцию студентам. Но, прежде чем успел произнести хоть слово профессор, в аудитории явственно прошелестело:

– Педант!

Профессор постучал стаканом о графин с водой. Может быть, он ослышался?

– Вон педанта из аудитории! – отчетливо прогудел, выделяясь из общего шума, чей-то молодой, но внушительный басок.

Это было похоже на бунт. А Степан Петрович Шевырев хорошо знал имя подстрекателя. В Москву только что пришла свежая книжка «Отечественных записок». В ней и напечатан памфлет «Педант». Речь идет в памфлете о некоем Лиодоре Ипполитовиче Картофелине, но писан тот портрет точной и дерзкой кистью именно с профессора Шевырева. Под «Педантом» стоит подпись автора: «Петр Бульдогов». Но каждый узнает руку Виссариона Белинского.

Памфлет вызвал бурю. В университетских аудиториях и коридорах, в студенческих номерах «Педанта» читали и перечитывали.

«...Любовь его к букве, – писал о Картофелине-Шевыреве Белинский, – должна все больше и больше увеличиваться; ненависть и отвращение ко всему живому и разумному – также. Слово «идея» он не должен слышать без ужаса...

...Он не что иное, как раздутое самолюбие, – продолжал Белинский, – хвалите его мара-нье, дорожите его критическими отзывами, – он добр, весел, любезен по-своему... Но беда ваша, если вы не сумеете или не захотите скрыть от него, что у него самолюбие съело небольшую долю ума, вкуса и способности, данных ему природою... О, тогда он готов на все злое и глупое – берегитесь его!.. Рецензия его тогда превращается в площадную брань, критика становится похожа на позыв к ответу за деланье фальшивой монеты...»

Теперь профессору-эстетику пришлось покинуть аудиторию под крики возмущения:

– Вышвырнуть Шевырку из университета!

А когда дойдут эти молодые гневные голоса до Виссариона Белинского, он еще раз повторит со страстью:

– Спасайтесь, люди, от смертельного яда прекраснотушия!

Конечно, «Педанта» читали не только в университете. Шевырева почитали в Москве столпом «чисто русской» мысли и ее златоустом, одинаково красноречивым и в науке, и в поэзии, и в критике.

Никто еще не осмеливался открыто назвать Степана Петровича самовлюбленным ничтожеством и политическим доносчиком. Никто не дерзал сказать печатно: «Берегитесь его!»

Шевырев отсиживался дома. Кстати, надо было хорошенько обдумать, как привлечь к происшествию внимание высшего правительства. В этом усердно помогал ему профессор Погодин.

Михаил Петрович не раз перечитал те строки «Педанта», в которых Белинский обещал дать еще один портрет литературного циника, человека, который, будучи век свой спекулян-том, успел уверить всех, что он ученый и литератор, идеал честности, бескорыстия и добро-совестности.

– Никак и в меня метит, разбойник? – спрашивал, свирепея, Погодин.

Степан Петрович Шевырев, уязвленный «Педантом» до разлития желчи, мог только под-твердить истину, прозорливо угаданную ученым издателем «Москвитянина».

– А коли так, – Погодин сжимал кулаки, – будем немедленно просить генерал-губернатора: пусть самолично поддержит нашу жалобу в Петербурге. Пусть закуют каторжника в кандалы навечно!

Степан Петрович глянул на воинственно сжатые кулаки Погодина. Могучие, конечно, кулаки, а что в них проку? Ныне нужен гибкий, дальновидный ум.

– Надеетесь на генерал-губернатора, Михаил Петрович? – спросил Шевырев и задумался, озирая, как полководец, предстоящие битвы.

В то время, когда профессор Шевырев совещался с профессором Погодиным, еще один почтенный москвич сочинял жалобу шефу жандармов графу Бенкендорфу.

Михаил Николаевич Загоскин, принадлежа к «чисто русскому» направлению, как Шевырев и Погодин, избрал для себя поприще исторического романиста и действовал попросту. Он пел аллилуйю древней Руси, которую изображал медовым узорчатым пряником; когда же касался вольного духа современности, тотчас затягивал грозную анафему. Сколько исторических романов ни написал Загоскин, ни разу с тона не сбился. Приятели давно величали его и русским и московским Вальтер Скоттом. Ныне же Михаил Николаевич Загоскин, пресытившись лаврами исторического писателя, выпустил в свет нравственно-описательный роман «Кузьма Петрович Мирошев». И вот она, проклятая книжка «Отечественных записок»! Вот он, отпетый разбойник Белинский!

Белинский доказал, что так же, как и в псевдоисторических романах Загоскина, герои «Мирошева» похожи на фигуры, грубо вырезанные из картона, и на лбу у каждой такой фигуры приклеен ярлык: «Добродетельный номер 1», «Злодей номер 2» и т. д. Чувства добродетельных героев подменены убогими чувствованьями, нравственность – картофельной, как выразился Белинский, сентиментальностью.

Но для чего написан «Мирошев»? Цель все та же: доказать превосходство нравов старины перед современными. Все та же аллилуйя невежеству, темным предрассудкам и рабской покорности, все та же анафема просвещению.

«Но довольно, читатели! – закончил Белинский рецензию на «Мирошева». – Скоро о подобных явлениях уже не будут ни говорить, ни писать... И цель нашей статьи – ускорить, по возможности, это вожделенное время».

Так теперь и повелось. Выйдет статья Белинского – и, глядь, уже нет нескольких верований, еще вчера непоколебимых.

Не зря писал жалобу шефу жандармов московский Вальтер Скотт – Загоскин. К нему мог бы присоединиться и петербургский Шекспир – писатель Нестор Кукольник.

В той же книжке «Отечественных записок» Белинский разобрал исторический роман Кукольника «Эвелина де Вальероль». Обратившись к истории Франции, автор занялся поисками предшественников революции 1789 года.

Белинский доказал, что Кукольник истории не знает, действительных сил, приведших к падению монархии во Франции, не видит и вообще путает историю со сказками «Тысяча и одна ночь». Тут петербургский Шекспир – Кукольник ни в чем не уступит московскому Вальтеру Скотту – Загоскину. Цель у писателей охранительного направления всегда и везде одна. Да и в средствах они не очень отличаются друг от друга.

...Сейте гром  
Решетом!..  
Поспешите, поспешите,  
Духи тьмы!..

Белинский не удержался, чтобы не привести эту галиматью в театральном обзоре все в той же мартовской книжке «Отечественных записок».

И вот вам, читатели, «Русский театр в Петербурге». На столичной сцене идут переделки рыночных французских романов, сюда тащат пьесы, взятые с задворок итальянской литера-

туры, здесь шьют и перекраивают на потребу дня всякую ветошь отечественные драмоделы. В храме российской Мельпомены по-прежнему потчуют жизнью, вывороченною наизнанку.

Почему же это так? – задумается читатель. В самом деле: почему проповедует с университетской кафедры педант и доносчик Шевырев? Почему бесстыдно лгут в словесности загоскины и кукольники?

А Виссарион Белинский уже приглашает читателей журнала познакомиться с молодым поэтом Аполлоном Майковым. Особенно отметил критик стихотворения Майкова, овеянные думами о современной жизни.

«Время рифмованных побрякушек прошло невозвратно, – пишет критик: – требуются глубокие чувства и идеи, выраженные в художественной форме...»

Именно для того, чтобы отвлечь внимание читателей от глубоких идей, рожденных временем, благонамеренные писатели будут поставлять свои побрякушки и в прозе и в стихах. Но отсюда и вытекает святой долг истинного поэта: он должен быть врачом, открывающим общие боли и скорби и поэтическим воспроизведением исцеляющим их.

Общие боли и скорби! Это язвы рабства и самовластия. Нет возможности сказать яснее в подцензурной статье...

Свежую книжку «Отечественных записок» нарасхват берут в столичных кофейнях. «Отечественные записки» идут теперь и в такие города, где еще только учатся читать журналы. Теперь и захолустный почтмейстер знает: молодые учителя и чиновники из образованных начинают наведываться на почту задолго до получения очередного номера «Отечественных записок», а получив, тотчас открывают отдел критики: о чем пишет ныне господин Белинский? И подписи его нет под статьей, а имя автора угадывают безошибочно.

Долго смотрит вслед нетерпеливому подписчику старик почтмейстер. Дался им этот Белинский! Какая должность назначена ему в Санкт-Петербурге?

А журнальная книжка уже пошла по рукам. Статьи Белинского обладают удивительным свойством: каждому читателю кажется, что автор говорит именно с ним.

Давно оплыла свеча, давно остыл чай, а человек, который никогда не видел Виссариона Белинского, слышит его голос. То полнится эта речь ненавистью и сарказмом, то дышит его горячее слово непоколебимой верой в то, что непременно исцелятся на Руси общие боли и скорби. Когда же придет это время? Догадаться нетрудно: именно тогда и только тогда, когда всеобщая ненависть истребит «духов тьмы».

И сменит читатель оплывшую свечу на новую. О чем еще пишет ныне господин Белинский? Вернее, о чем только не пишет этот неутомимый журналист, умеющий откликнуться на все животрепещущие вопросы жизни...

Мартовская книжка «Отечественных записок» была, как всегда, наглядным тому доказательством.

Еще раз перечитает статью за статьей любознательный читатель и вдруг спохватится: да когда успел написать все это для очередного номера журнала один сотрудник, пусть даже самый важный?

## Глава девятая

Усталый до полного изнеможения сил, Белинский лежал на диване, растирая онемевшую руку, и яростно ругал цензуру. Цензура, как всегда, изуродовала его статьи. Нет сил терпеть! А в груди поднимается тупая боль. Мучит и мучит проклятый кашель.

Идти из дома не хотелось, а дома, в одиночестве, было страшно, как в гробу. Именно в этот час горьких раздумий Белинский получил небольшой пакет, пришедший из Москвы через чьи-то случайные руки. В пакете оказался бумажник, вышитый заботливой женской рукой. И ни единого слова, которое могло бы что-нибудь объяснить.

Но не так уж часто получает Виссарион Григорьевич изящные сувениры. Строжайшее инкогнито, под которым прибыл бумажник, раскрылось само собой: Мари!

В жилище одинокого человека брызнул такой ослепительный свет, что Белинский зажмурился, потом медленно, с опаской открыл глаза – чудесное видение, представшее перед ним в виде бумажника, расшитого бисером, так и оставалось явью: Мари, милая Мари, ничего не забыла!

В эту минуту ему, может быть, и в самом деле казалось, что при недавних встречах в Москве произошли события чрезвычайные. Иначе что же могла помнить Мари?

Но трезвая истина немедленно сменила приятный самообман. Олух! Ничего сколько-нибудь важного он ей так и не сказал.

– В Москву! – Белинский бросился к дверям и, остановясь, неудержимо рассмеялся.

Счастливый человек не выпускал бумажника из рук, пока не услышал за стеной чьи-то шаги. Бумажник был поспешно спрятан в стол, но лицо Виссариона Григорьевича продолжало светиться. Гость глянул на него:

– Что случилось, Виссарион Григорьевич?

– Ничего не случилось, – с заметным усилием ответил Белинский, хотя ему очень хотелось объявить: «Случилось, конечно, случилось!» – Садитесь, рассказывайте, – продолжал он. – Всегда рад вас видеть... Нуте?

– Перечитал я, Виссарион Григорьевич, всю книжку «Отечественных записок», – начал гость, все еще присматриваясь. – Мамаево побоище учинили вы супостатам. Но и я, грешный, не стовариваясь с вами, изложил печатно примерно те же мысли о Загоскине. Как же мне не гордиться!

– Читал вашу рецензию в «Литературной газете», – отвечал Белинский, весело поглядывая на гостя, – не занимать вам святой злобы против пустомелей.

– Я той злобой, Виссарион Григорьевич, в Питере обзавелся. Когда ходишь голодным изо дня в день – и так год, и два, и три, – тогда поневоле возненавидишь всех медоточивых брехунов.

– Неплохо, совсем неплохо написали вы о Загоскине. И зло и дельно, – еще раз похвалил Белинский. А сам не мог отвести взгляда от стола: может быть, все только пригрезилось ему?

! – Сколько вам лет, Некрасов? – неожиданно спросил Виссарион Григорьевич. – Двадцать есть? Я уж и не помню, пожалуй, такой счастливой поры.

– Мне идет двадцать первый год, – отвечал Николай Алексеевич Некрасов. – Вскоре буду праздновать гражданское совершеннолетие... Господи, сколько же бумаги успел я перевести! Если когда-нибудь напомнят мне о моих прежних писаниях, решительно отрекусь. По счастью, впрочем, я и сам не упомяну все, что печатал из-за куска хлеба. Вот выйду, по древнему обычаю, на площадь и буду каяться: «Вирши для гостинодворских молодцов печатал? Печатал. «Дагерротипы» всякие и прозой и стихами заполнял? Заполнял. Отзывы о пьесах, понятия не имею о законах театра, писал? Писал!»

– Ну, батенька, – Белинский рассмеялся, – коли ударитесь вы в покаяние, тогда и мне надо будет бухнуть на колени рядом с вами на той же площади. Творец небесный, сколько глупостей напорол я, когда проповедовал примирение с нашей действительностью! Страшно вспомнить, – ревел, как упрямый осел: нет, дескать, нужды художникам вмешиваться в дела политические или правительственные! А надо бы давно мне понять: чем выше поэт, тем теснее связано развитие его таланта с развитием общества. Вот мерило!.. Да, – повторил Белинский, остановясь перед гостем, – только тогда и прозрел, когда спустился на грешную землю.

– И я, Виссарион Григорьевич, читая ваши статьи, повернулся к правде.

– Так полагаете? – Белинский покосился. – В таком случае позвольте задать вопрос: почему, сказав суровую правду в рецензии о Загоскине, вы в то же время похвалили какую-то дрянь?

Некрасов смутился.

Белинский взглянул на гостя, не скрывая сердечной к нему приязни. А гость сидел перед ним, сутулясь. В чертах подвижного бледного лица проглядывала усталость.

– Сколько бесстыдной лжи надо развеять, – продолжал Белинский, – а она сызнова рождается каждый день и в газетах, и в журналах, и в книгах. В последних статьях отдал я дань преимущественно москвитянам. А разве в Петербурге меньше мерзости? Один Булгарин чего стоит! Когда я о нем пишу, каждый раз думаю: как обойти цензуру? Пушкина, видите ли, ругать у нас можно, Гоголя – сделайте одолжение. А наступишь на Булгарина – тут каждый цензор бледнеет от страха... Куда вы? – удивился Белинский, видя, что гость вдруг поднялся.

– Проклятая привычка, Виссарион Григорьевич! – Некрасов рассмеялся. – Мне все кажется, что нужно куда-то бежать, рыскать по редакциям да рассовывать свои статейки, как в прежние годы, когда был я, прямо сказать, литературным бродягой. Не обращайтесь внимания. Пока сами не прогоните, никуда не уйду.

Прошло около четырех лет с тех пор, как дворянский сын Николай Некрасов приехал из Ярославля в Петербург. Молодой человек вез с собой феску, вышитую золотом, какой-то необыкновенный архалук с бархатными полосками и заветную тетрадь собственных стихов. С этой тетрадкой были связаны, как и полагается в шестнадцать лет, тайные, но горделивые мечты.

Прозаическая часть багажа юного путешественника заключалась в свидетельстве о выбытии из пятого класса ярославской гимназии с весьма скромными успехами. Сюда же, к прозаической части багажа, следовало отнести капитал, состоящий из ста пятидесяти рублей ассигнациями, и рекомендательные письма, которыми был снабжен молодой человек для поступления в Петербурге в дворянский полк. Собственно, только для этого и отпустил сына суровый родитель, вовсе не подозревавший о существовании поэтической тетради. В дворянском полку Николай Алексеевич Некрасов должен был приготовиться к офицерскому экзамену и начать, по примеру отца, военное поприще. Но тут молодой человек объявил свое истинное намерение: он поступит в университет – и больше никуда!

И все сразу пошло прахом. Разгневанный родитель отказал в поддержке сыну-ослушнику. Строптивый сын отвечал: если батюшка будет слать ему ругательные письма, он будет возвращать их не читая.

Заветная тетрадка стихов все еще лежала без движения. А какие там были стихи! Сколько красивых слов, сколько томных чувств! Цветистая фраза, преувеличенные мысли казались ярославскому гимназисту пределом поэтического совершенства.

Но привезенные в столицу сто пятьдесят рублей быстро растаяли. Пора было нести стихи в журнал или избрать солидного издателя. Но неопытный провинциал понятия не имел, куда идти.

Будущий студент был очень молод, очень беден и малообразован. Как сдать для поступления в университет латынь? Николай Некрасов был куда более сведущ в правилах бильярдной игры, чем в грамматике и синтаксисе чеканного языка величавой древности.

Тут началась повесть его жизни, столь удивительная, что не мог бы измыслить ее самый изобретательный писатель.

В каком-то трактире бездомный юноша встретил подвыпившего, небрежно одетого господина.

– Тебе нужна латынь? Ты будешь ее знать. Едем ко мне на Охту.

На далекой петербургской окраине Некрасов поселился у неожиданного благодетеля в темном чулане. Благодетель оказался преподавателем столичной духовной семинарии. Он пил запоем, затягивавшимся иной раз на неделю. В такие недели ученик усердно повторял пройденное и терпеливо ждал, когда вспомнит о нем учитель.

Потом будущий студент снял комнату у какого-то отставного унтер-офицера. Долг за квартиру достиг потрясающей суммы в тридцать пять рублей, а жилец, истощенный голодом, тяжело заболел. Когда же постоялец, начав поправляться, куда-то неосторожно отлучился, хозяин попросту не пустил его обратно на квартиру.

Холодной осенней ночью молодой человек в плохонькой шинелишке и летних брюках опустился на приступку у входа в какой-то магазин.

Подошел нищий, хотел было просить милостыню, но, приглядевшись, осекся. Нищий и увел молодого человека в свое логово где-то на Васильевском острове. Николай Некрасов вступил в большую унылую комнату, в которой ютились нищие, бродяги и женщины, потерявшие человеческое обличье. Все было похоже на преисподнюю, в которой осуждены томиться грешники. Это были петербургские углы.

Наутро, написав какой-то старухе какое-то прошение, Некрасов получил от нее пятнадцать копеек.

Это не был его первый литературный гонорар. Как вол, которого кормят ноги, юноша рыскал по Петербургу в поисках любой работы. Он составил занимательную азбуку, заказанную ему мелким литературным промышленником, написал по заказу сказку о бабе-яге. В дышащем на ладан журнале «Сын отечества» милостиво напечатали его стихотворение «Мысль».

Жизнь сталкивала его с удивительными личностями. Одно время он жил у художника, склонного более к философским размышлениям, чем к деятельности. В храме искусства, в котором жил этот живописец и где поселился молодой поэт, недавно явившийся миру на страницах «Сына отечества», не было часов. Время узнавали по зарубкам, сделанным на двери. По зарубкам скользил солнечный луч, на каждой зарубке был обозначен определенный час. Когда на хмуром петербургском небе не было солнца, время останавливалось.

Время то останавливалось, то летело для Некрасова с непостижимой быстротой. Многое было похоже на тяжелые перемежающиеся сны. Во сне или наяву он жил какое-то время в углу, в котором не было ни стола, ни стула, никаких вещей. Молодой человек писал, лежа на полу. Когда в низкое окно заглядывали любопытные, жилец прикрывал внутренние ставни и опять писал, писал, писал... Увы, это были не только стихи, но и презренная проза: заметки, хроники, переводы с французского, который он плохо знал, рецензии на спектакли и книги, – словом, все, что можно было сбыть хотя бы в самый захудалый листок.

Он ходил в знаменитую смирдинскую библиотеку и там, читая, учился писать. Он дал себе слово не погибнуть и умел держать слово.

А университет? Через год после приезда в Петербург Некрасов явился держать вступительные экзамены на факультет восточных языков. Неожиданно для себя он получил пятерку по латинскому языку, но далее последовала единица по всеобщей истории. Впереди предстоял грозный экзамен по физике. Встреча с этой таинственной незнакомкой не сулила ничего доб-

рого. Некрасов не явился на экзамен. Его вычеркнули из списков экзаменуемых. Развевалась еще одна надежда: молодой человек так рассчитывал в случае удачи на примирение с отцом!

В двадцати верстах от Ярославля, на почтовом тракте неподалеку от Волги, стоит столб с надписью: «Сельцо Грешнево господ Некрасовых». Когда-то Некрасовым принадлежали огромные имения в разных губерниях. Все спустили прадеды и деды. У нынешнего помещика Алексея Сергеевича Некрасова всего сто сорок семь крепостных душ. Но в барском доме царят прежние порядки. Свистят арапники, егеря готовят собак – барин едет полевать. После охоты у Алексея Сергеевича собираются картежники, разгульные крики оглашают дом. Барин выбирает наложниц среди крепостных красавиц, а с конюшни слышатся вопли истязуемых рабов.

Когда Некрасов вспоминал о родном гнезде, ужас и отвращение потрясали его душу. Все мысли обращались к матери, которая томится в этом аду. Ей, матери, отдана страстная сыновья любовь. В разлуке с ней горюет неудачник сын, не выдержавший экзаменов в университет. Но он подает новое прошение о приеме его в вольнослушатели, теперь на словесное отделение, а еще через год опять держит экзамен, но уже по юридическому факультету.

Новая неудача еще раз закрывает перед ним университетские двери. Профессора отнеслись с полным равнодушием к автору поэтического сборника «Мечты и звуки». Да ведь и автор укрылся под скромными инициалами НН.

Увы! Стихов НН никто не покупал. Появилась суровая рецензия Белинского. «Посредственность в стихах нестерпима», – писал критик. Поэт отправился по книжным лавкам и собрал все непроданные «Мечты и звуки». Может быть, легче было бы ему, если бы знал он, что много лет тому назад по петербургским книжным лавкам так же точно ходил автор идиллии «Ганц Кюхельгартен».

Провалившись вторично на экзаменах в университет, Некрасов взял из канцелярии бумаги. Не суждено ему стать ни знатоком восточных языков, ни словесником, ни юристом.

Однако именно в это время молодой человек, потерпевший крушение, оказался на пороге другого университета, в который доступ был открыт немногим счастливым. Пусть помещается этот университет не в старинном здании Петровских коллегий, а всего только в скромной квартире Виссариона Белинского.

Белинский обратил внимание на рецензии в некоторых изданиях. Неведомый рецензент нередко высказывал мысли, близкие самому Белинскому, писал горячо, живо, зло и остроумно. Знакомство вскоре состоялось. Псевдоним автора поэтического сборника «Мечты и звуки» раскрылся. Впрочем, Некрасов и сам уже посмеивался над чувствительными стишками.

Теперь рецензии Некрасова печатаются в «Литературной газете» и в «Отечественных записках». В печати появляются его рассказы. В петербургском театре с успехом идут водевили Перепельского – это все он же, Николай Некрасов. Молодой литератор присматривается и к тайнам издательского дела. Куда еще направить неуемную энергию?

В тот вечер, когда Николай Алексеевич забежал к Белинскому, их беседа затянулась допоздна. Некрасов вспоминал родное Грешнево. Яростно ненавидит он грешневские порядки, а поскольку такие же порядки существуют в каждой помещицкой усадьбе, стало быть... Николай Алексеевич не боится заглянуть в будущее. Он насквозь видит духовную немощ тех, кто изобретает утешительные пластыри. Молодой человек, прошедший суровую школу жизни, чурается прекрасноты, какую бы маску оно ни надевало.

Большие, еще для самого себя неясные надежды возлагает на этого молодого человека Виссарион Белинский. Но и молодой человек не смеет даже себе признаться в сокровенной мечте: мыслями его раз и навсегда овладел Гоголь; если бы когда-нибудь суждено было ему явиться перед читателями так, чтобы продолжить дело Гоголя!

Гость собрался уходить, когда в раздумье спросил Виссарион Григорьевич:

– Где бы достать денег, Некрасов?

– А Краевский? – удивился Некрасов. – Неужто, богатея на «Отечественных записках», он так и будет держать вас на голодном пайке?

– Краевский аккуратно выполняет обязательства, тем более что условие, заключенное со мной, весьма ему выгодно. Я же, грешный, вынужден постоянно забирать вперед. Издатель «Отечественных записок» кряхтит, но не отказывает. Сейчас я у него в большом долгу и больше просить не буду. А деньги мне вот как надобны, прямо сказать – до зарезу!

– На что же так нужны вам деньги, Виссарион Григорьевич, если, конечно, не секрет?

– У всякого бывают свои причуды. Ну, предположим, тянет меня катнуть в Москву.

– Да ведь вы только недавно там были?!

– Был, – подтвердил Белинский, – и, может быть, именно потому мне надо опять и непременно там быть. – Он снова покосился на письменный стол, где покоился бисерный бумажник. – Всякие бывают причуды у людей, – повторил Виссарион Григорьевич и деловито продолжал: – Ну те, какой же коммерцией раздобыть денег? Вы, Некрасов, великий изобретатель, придумайте!

– Есть у меня одна мыслишка, коли так. Что, если издать мифологию для детей, и, конечно, с хорошими картинками? Очень нужная книга. Издателя авось я найду. А вы напишете текст, Виссарион Григорьевич. Вот и будут деньги.

– У вас не голова, а фабрика гениальных идей! Доброе дело – дать ребятам мифологию. Пусть приобщаются к истинной поэзии. Довольно потчуют их моралисты постным сахаром, а виршеплеты – касторкой. Действуйте, Некрасов! – Виссарион Григорьевич совсем было загорелся и вдруг спохватился: – Только время-то опять уйдет! Ох, время!..

## Глава десятая

В неизвестных Маковищах, в краю, присоединенном к России после раздела Польши, проживала столь же неизвестная панская семья. В семье маковищенских панов крепко держались старинных обычаев. При посещении богатой и знатной родственницы пани Конюховской они склоняли колена и, прежде чем быть допущенными к целованию руки высокородной пани, смиренно лобызали ее туфлю. При прощании повторялся тот же церемониал. Именно при таких обстоятельствах проворный панич из Маковищ и получил в награду за усердие первый в своей жизни червонец.

Панич из Маковищ умел с детства привлечь к себе внимание благодетелей, для чего не брезговал дружбой ни с учеными попугаями, ни с жирными моськами, если числились они в барских любимцах. Это были робкие, но вполне самостоятельные шаги будущего великого человека.

Ходили слухи, что во время восстания под водительством Костюшко сам маковищенский пан сыграл какую-то неблагоприятную роль. Супруга его действовала с большей решительностью: обуреваемая алчностью, она объявила русским властям, будто при поспешном удалении из Маковищ в смутные дни она оставила там гарнец рассыпного отборного жемчуга, и подтвердила свое показание под присягой. Но миф о целом гарнце жемчуга оказался настолько невероятным, что вместо вознаграждения потерпевшей пани возникло конфузное дело о кривоприсяжничестве. Впрочем, пани кривоприсяжница нашла высоких покровителей в Петербурге и отважно двинулась в дальний путь. Вся эта история вряд ли стала бы любопытной для потомков, если бы заботливая пани не взяла с собой любимого сына – того самого, что умел еще в детские годы заработать червонец при целовании туфли высокородной пани Конюховской.

В Петербурге открылась новая страница в жизни маленького панича. Одетый для шутки в польский кунтуш, он забавляет теперь русских вельмож и по прежнему опыту не брезгует дружбой ни с попугаем, ни с моськой. В знатных петербургских домах этот испытанный путь оказался столь же надежным.

Картина резко изменилась, когда панича поместили в кадетский корпус. Жестокий воспитатель щедро потчевал новичка розгами. Новичок, не вытерпев истязаний, пробовал жаловаться. Новые удары розог обрушились на его спину. Тут воспитуемый постиг важный урок житейской мудрости: уважай власть!

Юный кадет, принадлежавший к семейству ревностных католиков, начал ходить в православную церковь и вскоре усердно пел на клиросе. Юнец сообразил: ему приличнее быть русской веры, ему выгоднее быть русским.

Выпущенный из корпуса в офицеры, он провел следующие годы, по собственным его словам, на ратном поле, в бивуачном дыму. Впрочем, не столько бивуачный дым, сколько сплошной туман окутывает ратные подвиги панича из Маковищ. Это он, перебежчик, служил под знаменами Наполеона. Кто виноват, что ставка панича была бита? Кончились военные бури, рассеялся спасительный туман, скрывший щекотливые подробности жизни молодого человека. Ему снова выгоднее быть русским.

На улицах Петербурга появился молодой коренастый мужчина с вкрадчивыми манерами и опасно бегающими глазами.

Он начал с литературного воровства, мягко именуемого плагиатом, потом до коллик насмешил читателей невежеством своих исторических открытий и наконец обрел истинное призвание в тот счастливый час, когда объявился в «Северной пчеле».

Отныне имя Фаддея Венедиктовича Булгарина приобретает громкую известность. Лобызание царственного ботфорта и прочих ботфортов, управляющих Россией, происходило на

страницах «Северной пчелы» с таким воодушевлением и простосердечием, что только диву дались собратья молодого журналиста, промышлявшие тем же ремеслом.

Оперившись, Булгарин еще раз печатно объявил себя русским и, как русский, правдолюбом. Правдолюбец неумоимо преследовал Пушкина, то обвиняя его в отсутствии патриотических чувств (а кто, как не Булгарин, мог быть нелицеприятным судьей в этом деле?), то объявляя всенародно о полном падении таланта поэта. Гоголя «Пчела» встретила грозным рокотом... Но кто перечислит все патриотические подвиги Фаддея Булгарина, которые совершал он из года в год, изо дня в день?

Фаддей Венедиктович приобрел солидную полноту, надежное благосостояние и милости верховной власти. Разумеется, в Петербурге ему платили щедрее, чем это делала в свое время высокородная пани Конюховская.

Первые сановники политического сыска охотно принимают его с заднего крыльца. Фаддей Венедиктович может представить любую справку о подозрительных занятиях писателя и журналиста. В сочинении этих так называемых «юридических» статей, не предназначенных для печати, Фаддей Венедиктович не имеет себе равных. Он подтверждает свои доносы клятвенным ручательством, но ему никогда не грозит, конечно, обвинение в кривоприсяжничестве, как случилось когда-то с незадачливой пани Булгариной.

Фаддей Венедиктович давно не ищет дружбы ученых попугаев или мосек, заслуживших милость высоких покровителей. Но если случится ему надобность в дружбе приближенного лакея особо влиятельной персоны, знаменитый писатель Булгарин не будет кичиться своим званием, а спина его никогда не устанет от поклонов.

Во время прогулок Фаддей Венедиктович направляет стопы преимущественно в лавки Гостиного двора.

– Как торгуешь, борода? – милостиво осведомляется у купца высокий гость.

– По малости, ваша милость, а желательно бы, конечно, расширить коммерцию.

Если купец был догадлив, далее разговор с высоким гостем происходил один на один; разговор сопровождался шелестом ассигнаций, и продолжался этот приятный для слуха шелест до тех пор, пока Фаддей Венедиктович не изъявлял удовлетворения великодушным кивком головы.

Иногда, прогуливаясь для пользы здоровья, издатель «Северной пчелы» навещал не только купцов, но и фабрикантов. Дальнейшее совершалось в том же порядке и при том же приятном для слуха шелесте.

А на страницах «Северной пчелы» появлялся очередной фельетон Булгарина, посвященный отечественной торговле и промышленности, в котором автор примера ради приводил фамилии купцов и фабрикантов, достойных особого внимания покупателей.

Но не эти заслуги Булгарина перед отечественной торговлей и промышленностью имелись в виду, когда Фаддей Венедиктович получал бриллиантовый перстень из кабинета его величества. В таких случаях награждалось перо Булгарина, «всегда верное престолу». Императорский двуглавый орел не чурался открытого союза с ничтожной «Пчелой».

На «Пчелу» подписывается купечество (а не подпишешься – как пить дать, разорит лиходей!). Подписываются чиновники – кто из любознательности (что пишет «Пчелка?»), кто страха ради. Читают «Пчелку» гостинодворские молодцы и даже образованные девицы. В канцеляриях частных приставов и у квартальных надзирателей никогда не назовут ее «Пчелкой», но всегда уважительно – «Пчелой».

Фаддей Венедиктович Булгарин стал, можно сказать, символической фигурой в столице императора Николая I. Впрочем, он не был единственным.

Если бы любопытный провинциал, остановясь у особняка, сквозь парадные двери которого виднеется лестница, устланная коврами и уставленная тропическими растениями, спросил у прохожего: «Интересуюсь знать, сударь, кто здесь обитает?» – а прохожий буркнул бы

на ходу: «Профессор Сенковский», – то усомнился бы, конечно, заезжий человек: когда селись ученые крысы в таких хоромах?! Но если бы объяснить приезжему толком, что проживает здесь профессор Сенковский, он же барон Брамбеус, тогда все бы стало ясно.

– А, барон Брамбеус! – почтительно повторил бы простодушный житель провинции. – Так его же вся грамотная Россия знает!

И в самом деле, редактор журнала «Библиотека для чтения» профессор Осип Иванович Сенковский, пишущий под многочисленными псевдонимами, не зря сменил ученые занятия на перо журналиста. Его называют одним из триумвиров, которые еще недавно безраздельно властвовали на тучном поле столичной журналистики.

К этому же триумvirату принадлежат издатели газеты «Северная пчела» – Фаддей Венедиктович Булгарин и Николай Иванович Греч.

Случалось, что Николай Иванович ссорился с Фаддеем Венедиктовичем или оба они вдруг нападали на «Библиотеку для чтения». Но домашние ссоры триумвиров никогда не касались главного. Главное же заключалось в том, чтобы ни с кем не делить обильную жатву, собираемую с подписчиков. В том триумвиры были одинаково тверды, хотя и шли к цели разными путями.

Осип Иванович Сенковский стремился отвлечь внимание читателей от опасных мыслей вполне безопасными анекдотами, каламбурами и шутками. Он умел эти шутки крупно присолить и крепко приперчить, меньше всего заботясь о том, чтобы потрафить изысканному вкусу. Не скоро разглядели наивные читатели за этими каламбурами и парадоксами мертвый оскал отпетого циника. Сенковский создавал литературные репутации единым манием руки и с той же легкостью их разрушал, чтобы завтра провозгласить на страницах «Библиотеки для чтения» явление нового гения. С тем же цинизмом отзывался барон Брамбеус о бесплодных мудрствованиях науки, чем доставлял истинное утешение невеждам.

Являясь перед читателями, барон Брамбеус ставил себе в заслугу отсутствие всяких убеждений. Но как-то всегда случалось так, что ядовитые его стрелы безошибочно летели только в одном направлении – туда, где объявится смелая, честная мысль и неподкупный талант.

Если же у кого-нибудь из сотрудников «Библиотеки для чтения» не хватало умения заинтриговать читателей или досыта их посмешить, тогда редактор вписывал незадачливому автору целые страницы собственной рукой. Никто из пишущих в «Библиотеке для чтения» никогда не знал, в каком виде предстанет в журнале.

Но он умел работать, этот ученый циник, напяливший на себя шутовской колпак! Журнал, редактируемый Сенковским, выходил без опозданий, невиданно толстыми книжками, со множеством занимательных материалов. По новизне долго нравилась публике и замысловатая клоунада барона Брамбеуса. Подписка на «Библиотеку для чтения» шла вверх.

«Северная пчела» появилась на петербургском горизонте задолго до рождения «Библиотеки для чтения», а потому издателям ее не было нужды мудрить и изворачиваться, как барону Брамбеусу. «Северная пчела» пребывала в состоянии постоянного восторга от каждого распоряжения правительства, будь то хотя бы действия будочника, маячащего на перекрестке улиц. При этом Фаддей Венедиктович Булгарин имел похвальную привычку говорить в газете не от себя и даже не от совместного имени издателей «Северной пчелы», но не иначе как от лица всего русского народа. Русский же народ, по свидетельству «Северной пчелы», неизменно выражал власти преданность и благодарность по всякому поводу и без повода, от полноты чувств. Если верить «Пчеле», народ имел единственное желание: сохрани бог, чтобы не было на Руси перемен! Всякая перемена может только помешать процветанию, достигнутому раз и навсегда в Российской империи.

Высшие сановники столицы более всего одобряли эти мысли «Северной пчелы»: «В «Пчеле» выходит как-то чувствительно и наглядно...»

Впрочем, благоденствовали все триумвиры. Был у них, правда, изрядный переполох, когда Пушкин стал издавать журнал. Но Пушкин погиб, не осуществив многих своих замыслов, а «Современник» под водительством смиренного профессора Плетнева кое-как ковыляет теперь вдаль от больших журнальных дорог.

Потом объявился в Москве какой-то критикан Виссарион Белинский. Но столичные триумвиры вначале даже внимания на него не обратили. Удары становились сильнее, однако, по дальности расстояния, все-таки не очень беспокоили. А потом Белинский и вовсе замолк: негде стало ему печататься в Москве. Петербургская журнальная вотчина оставалась целиком за «Северной пчелой» и «Библиотекой для чтения».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.